

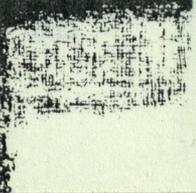
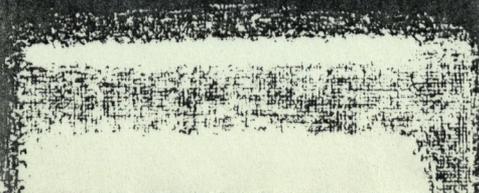
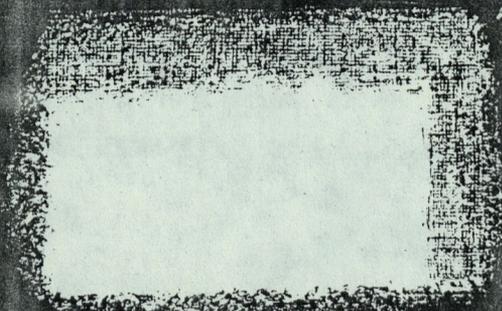
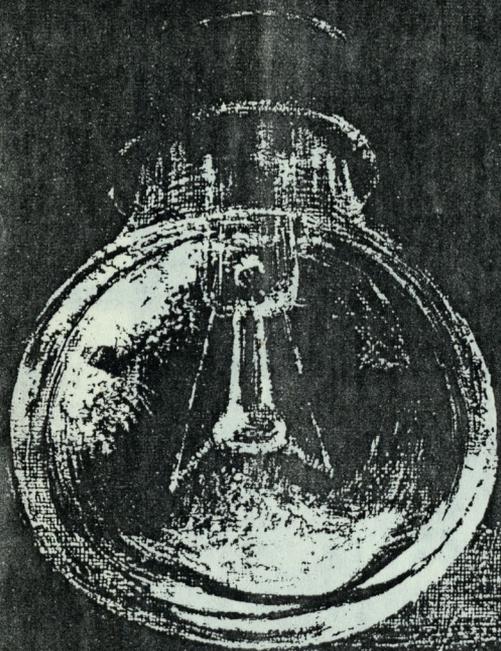
СУМЕРКА II



Сумерки—

заря, полусвет: на востоке до восхода солнца, а на западе, по закату; (вообще) полусвет, ни свет, ни тьма; время, от первого рассвета до восхода солнца, и от заката до ночи, до угаснутия последнего солнечного света.

Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ольга Мартынова. "... мир дрожит под коркой словаря"	4
Александр Ильянен. Абориген и Прекрасная туалетчица (выбранные места из либретто)	9
Арсен Мирзаев. Внутритворение реальности	44
Бахыт Кенжеев. Стихотворения 1989 года	49
Борис Вахтин. Дневник без имён и чисел	58
Алхимия.	102
Лев Халиф. Пузенья.	66
Олег Юрьев. Стихи и Хоры	70

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

"Горожане"/Встречи в "Сумерках"/	80
Михаил Талалай. К Белому озеру	121
Лариса Патракова. <Собор Рождества Богородицы>.	137
Воплощение Акафиста в архитектуре Ферапонтова монастыря	139

ЭТАЖЕРКА

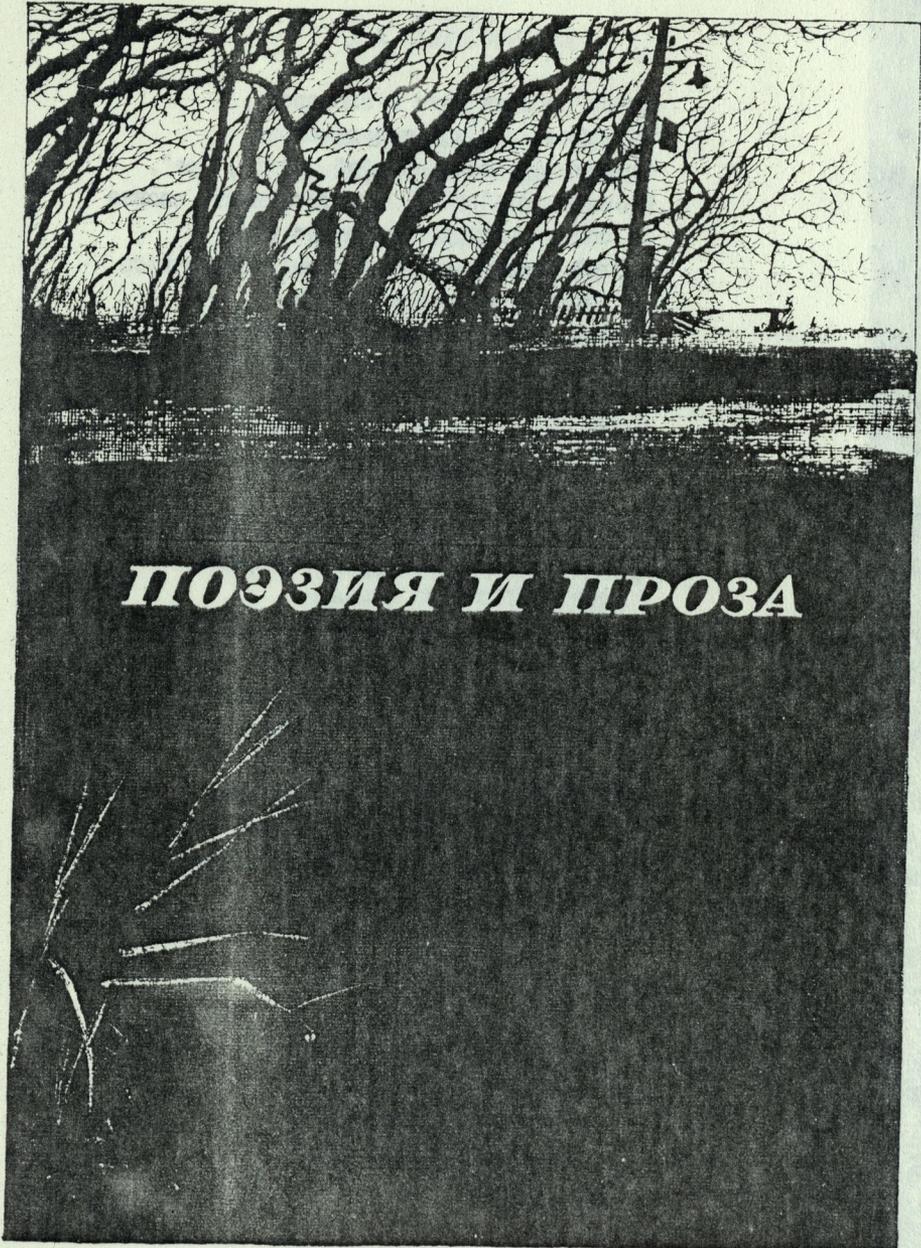
Лев Аренс. Воспоминания.	145
Ольга Мочалова. Маргарита.	147
Марьяна Козырева. Маргарита Марьяновна Тумповская.	153
Лев Семёнович Гордон	156
Лев Гордон. Три стихотворения.	159
Сказка про Ваську Немешаева – питерского вора.	163

"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ..."

Дмитрий Григорьев. Дорога вдоль берега	169
--	-----

BOOKSTAND

Владимир Марамзин. Смешнее чем прежде.	108
--	-----



ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Когда ребёнок ищет в словаре
 Случайно днём услышанное слово,
 Он сбивчиво листает: "и", "эль", "ре",
 Назад - вот "пе"... - и застывает, словно
 Не список наспех вычитанных слов,
 А свой цветной пластмассовый конструктор
 Он погружает в непомерный лоб
 И ищет смысл. А всё протуберанец
 То кажется созвездьем, то цветком,
 То минералом, превращаясь зря
 Во все слова, с которыми знаком.
 И мир дрожит под коркой словаря.

И может быть, когда при свете дня,
 При свете ночи, в свете сновидений,
 В огне воображения, гоня
 По кругу кровь, какой-то смутный гений
 Вдруг застывает посреди души,
 И человек, неся озноб вдоль ног,
 Вдруг застаёт себя в такой глуши,
 Где он не то чтоб даже одинок,
 А не рождён, но будто бы врасплох
 Его застали взрослые на стыдном -
 Быть может, в это время в яйцевидном
 Ядре сияющем, грызя карандаши,
 Над буквой "че" о чём-то плачет Бог.

1990

Составление: "Сумерки".

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Жизни взгляд через плечо,
Детства робкое скольжение
В нежной заводи глухой
Далеко и горячо.
В нашей жизни унижение
/А не отдых и покой/ -
Это жемчуг в черноте,
Зёрна белые в навозе...
Дни нежнейшие - не те,
Что блестят в воздушной розе
Северных прозрачных утр.
Сокровенно унижение,
Жизни чёрный перламутр,
Детства робкое скольжение,
Жизни взгляд через плечо.

2

"ГДЕ ГНУТСЯ НАД ОМУТОМ ЛЮЗЫ"

В узкой форточке хлопочет
Августа большая ночь,
Как павлины в зоопарке
Раскрываются кусты;
Гусеница строит кокон,
Чтобы стрекозе помочь
Оттолкнуться от пространства
И сказать дитяте: "Ты
Подойди поближе - омут
Как персидская сирень,
Для тебя она надела
Свой тяжёлый сарафан!"

1990

ВЫРИЦА

Мир лоскутный, пестрядёвый,
Он же — на экране сна,
Он же — светлый рай медовый,
Светлобокий, как блесна.
Мой растёт неаккуратно,
Ходит рыба под водой,
И скрипуче, непонятно
Крикнет птица троекратно,
Не видна во тьме седой.

Дождь прошёл, на листьях глянец,
Лужа через край течёт...
Вдруг цыганка с возу глянет
И серёжками качнёт.
Воз проедет, и дорога
Повернёт, и ночь придёт.
Жизнь, уставшая немного,
Нити грубые прядёт,

Время ткёт. И пестрядёвый
Мир приковывает взгляд;
На лоскутный рай медовый
Свой короткий, свой дешёвый
Примеряет он наряд.

1985

* * *

Пустынен сад мой. Восковые пчёлы
Жужжат, однако вовсе не движимы.
Рой слабых призраков едва сюда нагрянет,
Как стинет. Даже голоса нажимы
Тускнеют. Здесь и дня нет.

Мой сад замкнул рехнувшееся время,
В рой слабых призраков оно оборотилось
И сгнуло.

1984

* * *

Полотнище в крупный горошек дождя
Висит между домом и садом,
Скрывая от нас изваянье вождя,
На дом наш глядящее задом.

А душен был день, и, когда разомкнул
Перун оловянные своды,
Наш маленький сад благодарно вздохнул -
Дитя многодетной природы.

И птицы в моём отразились окне,
Крича про душевные раны...
Цыганки-вороны, поведайте мне,
Где вороны ваши - цыганы?

1982

* * *

Даль воздуха и солнце сентября -
Зимы польнной золотое семя.
Деревья опустили якоря
В прохладные и полные поля,
Где жёлтым клювом польхает время.

Как я вхожу в дома - здесь в сентябре
Какими меня потчуют дарами,
Как в яблока зелёной коже
Железный аромат ловлю ноздрями...
И наконец почти что навязав
Себе небытие и изобилье,
На времени распластанные крылья
Гляжу, как на Иакова Исав.

1984

Сюда сквозь расщелину масляной ночи
С Востока взирают закрытые очи
Немилых Украине равнинов,
А с Севера смотрят летящие козы,
Любовники держат увядшие розы,
Как будто, из пламени вынув
Горящую скрипку, скроенный из праха,
Из неги субботней, из вещего страха
Стоит здесь Невидимый Кто-то.
А жное небо в таинственных знаках,
А кровь неотмщённая плещется в маках,
И тянется мёртвая нога.
И плещутся в этом её клокотанье
Казачьи тени весёлой Украины,
Андрий со своею изменой;
Пузастые дети, глазастые вишни,
Турецкий султан и лиловый Куинджи,
И Гоголь — один во вселенной;
И дурень, что бросил белёную хату,
И чёрный бунчук богоданного ката,
И череп коня со змеёю;
И ветер отравленный тихо колышет
Ковыль. И очами печальными вышит
Правоздух над этой землею.
Украина! Твои москали и поляки,
Жиды и татары — лишь вечные знаки —
Сойдутся для детского плача
По той первобытной отчизне-чужбине,
Что в белых полях затерялась, отныне
Ни жизни, ни смерти не знача.

АБОРИГЕН И ПРЕКРАСНАЯ ТУАЛЕТЧИЦА

Выбранные места из либретто. Соч. А. Ильенена

Я сказал майору: вы из службы сделали балаган!

Этот балаган стоит в тундре. Весной над разноцветным куполом юрты-балагана пролетают с курлыканьем журавли, а летом вокруг балагана цветут жёлтые пушистые цветочки. Они, болотные эти цветочки, радуют взор девушки-делопроизводителя, когда та отводит осторожно полог, шурясь от весеннего солнца.

Майор, быв. сибирский офицер, одет как мальчик в старые времена: в матроску, короткие штанишки, гольфы. Он катается на деревянной лошадке. Когда карусель, что стоит посредине кабинета, останавливается, девушка-делопроизводитель ставит на патефон новую пластинку. Что за музыка? не понять...

Карусель вновь медленно начинает крутиться, наш дитя-майор весело смеётся. Его жена, вольнонаёмная СА, принесит завернутые в салфетку бутерброды. Он съедает их не слезая с лошадки. Девушка-делопроизводитель подаёт ему чай и возвращается к столу, чтобы поменять пластинку.

Магнитофона уже нет — его унёс капитан к Лизе.

А бывало он скрашивал длинные зимние дни нашей службы в этом балагане.

Дверь осторожно открывается: входит наш начальник. Новый подполковник, ещё осторожный, не знающий как толком себя вести со всеми. Улыбается. На ложноприветливом фейсе щегольские усики. Не упадите, говорит инфантильному майору. Тот в ответ глупо улыбается.

Французы на своём сленге называют патронов обезьянами. Я вспоминаю об этом и улыбаюсь. Девушки-делопроизводители тоже почему-то вдруг улыбаются.

А карусельная музыка всё играет. На нашей службе тепло, а за стенами мороз. Тепло и весело. Вот девушка-делопроизводитель надела кроличью шубку и вышла из кабинета, чтобы купить майору мороженого, которое продаётся студентами в лотках, рядом со службой.

Печатается с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

У меня уже от кружащейся карусели идёт кругом голова. Выдумай предлог и уйду... Да: пойду проведать Алёну Василькову, которая работает на Фонтанке, в библиотеке.

Алёна — моя confidentка. Она такая же как я аборигенка. Василькова — это придуманная фамилия. На самом деле, она Руйскауноки Алина. Какая разница, ей богу: руйскауноки это тоже василёк. Мы с ней потомки племени саввакогов, которые пришли по преданию с Севера, из так называемой коренной Финляндии ок. шестнадцатого века. Вместе с эвремейстами. Это другое племя. Говорим мы, разумеется по-русски, потому что аборигенского языка своего не знаем. Я — то малейшее понятие имею, а она никого. Не в этом дело.

Я ей жалуясь как турок на службу: тяготы и лишения. На начальников. Она сидит у огромного окна, в кресле, с шалью на плечах. Живописная!

Я ей жалуясь на трудную толмаческую и офицерскую судьбу. На бывшую фехтовально-гимнастическую школу им. Ленина, где служу. Сколько соблазнов: вьных тел! В бассейне, напр. Или: в душе моются совсем голые. Или летом бегают по стадиону.

Алёна меня понимает. Улыбается.

Я расспрашиваю её о Полине Маковой, нашей общей знакомой, она тоже ходит к мэтру в его сенакль. Собирается писать повесть. Интересуюсь у Алёны судьбой девушки-поэта, которую сослали в Новгород. Как она там бедняжка?

Давно нет никаких известий от неё.

А что, Алёна, почитай мне стихи! Алёна достаёт из стола листки и читает. Потом мы пьём чай и идём навестить старуху-аборигенку, Алёнину родственницу живущую неподалёку на Фонтанке, в доме с арками и фонарями.

Старая чухонка говорит: всё равно война будет.

Без злорадства, без весёлости эсхатологической, а как будто со знанием дела, будто бы пророчествуя: всё равно война будет! Пряди седые спадают на лоб.

Она не боится страданий: кажется всё выстрадано. А с невозмутимостью ждёт катаклизма как инки или ацтеки. Родственников почти не осталось: погублены, вымерли. Окружают старуху соседи-конквистадоры, грозят крестить огнём и мечом, руют её древние устои, искореняют её уклады. Грозят разрушить страшных

и любимых идолов с губами в крови...

Херракмала, вздыхает старуха.

Комната завалена коробками, бутылками, свёртками: припасами на случай войны.

Я не святой Себастьян! Если б мне принадлежало такое красивое тело, то давно бы уже стал мучеником. Давно бы уже в меня стреляли! Или истязали изощрённым способом, как водится.

Но, слава Богу, меня не привязывают к столбу и моё тело не пронзают стрелы!

Меня не бросают в ров с львами.

У меня своя участь. Я не избегаю другого: без палача и плахи поэту на земле не быть.

Рассуждаю, возвращаясь из музея, где на Венецианской выставке видел удивительно красивых мучениц и мучеников. Нет у меня мазохистических настроений: вот бы и меня так! Наоборот, бродя от картины к картине, с трепетом думал: да минует меня чаша сия! Подумался до спасительного: Господни страстотерпцы были прекрасны собой, а я...

Вот и ворота моего военно-воспитательного заведения.

Вхожу с кротким ликом. Само смирение. Весь во власти настроения, полученного на выставке. Майор с недоумением смотрит на меня смиренного. Они привыкли видеть во мне тореадора. Эти глупые и сильные животные: огромные и кажущиеся неуклюжими тела, с гладкой и приятной для касания рукой кожей... Они совсем не свирепые, если их кормить и не дразнить. Но если им досаждать: я вижу рядом с собой налитые кровью крупные глаза. Можно подумать, что раздражать их доставляет мне удовольствие, носиться по арене службы с красной тряпкой, размахивать перед мордами, уклоняться от ударов...

И Алёна видит во мне бесстрашную и гибкую фигурку с серебряными позументами: зелёная лужайка, орудие трибуны и я раскладываюсь держа красный лоскут в руке. Служители уносят с арены тушу быка. Нет, нет я против таких кровавых развлечений. Я не тореадор!

Может быть я играю роль красного лоскута.

Гаскрияваю книгу и погружаюсь в чтение: Маркиз де Кюстин "Письма из России".

Я себя воображаю (сочиняю, придумываю) пустынным.

Или странником. Живу я в бочке.

Это так понятно: как философ. До обидного просто.

Но это так удобно! Я видел однажды в архитектурном журнале эскиз загородного дома (коттеджа) сделанного в виде бочки.

Потом: во мне живёт бестиарий. Это тоже как и бочка не моё изобретение. Это я читал недавно Аполлинера и нашёл у него известный цикл "Бестиарий". Там и лошадь, и Певец, и рыба и обезьяна... Это мне показалось очень забавным!

Я когда-то начинал писать роман под названием "Записки сумасшедшей лошади". Меня вдохновила известная фраза Пушкина о переводчиках: мол, лошади просвещения! Ха-ха.

Я стал сочинять про переводчика-офицера, который сделался безумным, потому что стал писать стихи...

Ещё я воображал свою бочку в виде башни. Разумеется Флора! Я собираю самые общие места, уже более "обще" некуда. Это и есть моё современное искусство: поп-арт. Да массовое искусство, в традициях американца пятидесятих годов с банками из под пива. Что ж, как говорит мэтр, неплохо...

Я стесняюсь читать про бочку, т.е. башню, про обезьяну, лошадь, попугая - это всё я! про Орфея, это тоже я...

Попугай - потому что это моё ремесло - повторять. Обезьяна: от моей страсти к театру. Лошадь - это переводчик.

Я сочиняю без дальних умислов, по пушкински. Можно сказать: для себя.

Когда я учился в Лефортовской слободе, на Яузе, недалеко от ликёрки то любил такое место уединения как лазарет. Там я предавался моим мечтам, кое-что уже записывал и даже сочинял стихи. Это были послания, в виде од и элегий. Одно из стихотворений было написано по случаю посещения меня моим другом Базилем, натурой тонкой и одухотворённой, ему же было посвящено другое стихотворение "Воспоминание о поездке в Переделкино".

Тогда же я стал писать Мемуары на французском языке.

А если гибель предстоит?

- Да вы наверное всё на облаке летаете.

А я смотрю за окно, где льёт дождь. Вчера я не слышал ничего, а теперь слышу как идёт за окном дождь. Откуда-то издалека: из-за

облаков что ли до меня этот вопрос долетел. А я стою в кабинете, он сидит в том же кабинете на маленьком мягком диване в крайне неудобной позе. Он из себя весь такой военный: осанка, взгляд. Сидит вполоборота, повернувшись в мою сторону и облокотясь на узкий полированный подлокотник диванчика: щегольские усики на фэйсе моего нового начальника. (Прежний начальник погорел на любви: завёл роман с одной молодой дамой службы, вольнонаёмной привлекательной особой. Нет повести печальнее на свете! Моего начальника — первого! — потихоньку удалили из тёплого кабинета. Адью, адью. Вы знаете как это происходит: "наутро вызывает меня в политотдел..." ет сетера! х¹) Он сам того не подозревая, задал вопрос по существу. Испытующе смотрит на меня, думает, что с карманным фонариком можно в потёмках моей души всё рассматривать, всё там высвечивать! Вопрос остаётся без ответа. Фонарь держу за спиной. Посмеиваюсь: вижу обезьяну, которая высунула голову из бочки, повисшей в пасмурном небе, и гримасничает, изображая моего нового начальника. Я не слышу, что отвечаю смешному начальнику. Он себя не видит: передо мной начальственная птица, которую всю разнесло от важности, от собственной мнимой значительности. Он наверное думает, что я от смущения пытаюсь отвести глаза от места, где он сидит. Нелепо разговаривать с индюком (или павлином!) который вообразил себя военным чиновником! Орфей что-то поёт, а конь бьёт в нетерпении копытом. Делаю **учтливое** лицо, придаю ему особенно верноподданническое выражение чтобы понравиться индюку (в чине подполковника!). Это забавляет обезьяну, она дёргает певца и показывает на меня пальцем. Среди шума дождя раздаётся ржание лошади. Меня с миром отпускают. Обо мне составлено поверхностное очень нелестное впечатление. Этим я обязан майору, который присутствовал при сцене знакомства.

Тайно сердце просит гибели

Обезьянка наша милая весёлая простудилась, а ещё вчера

х) Слова из курсантской песни; помню только один куплет:

наутро вызывает меня в политотдел:

— что же ты собака вместе с танком не сгорел?

я вам обещаю, я вам говорю —

в следующей атаке обязательно сгорю

она так на снегу кувыркалась. Сибирское царство!

Орфей повесил лиру на крик, там где висел фонарь. Я ушёл на службу, освещая себе дорогу этим фонарём.

Крылатого коня не запрячь в телегу — мешают крылья, он лежит в бочке и жуёт овёс или сено. А военный чиновник с фонарём садится в трамвай и едет на службу.

Капитан вернулся из столицы, где он был по своим делам. Я не стану расспрашивать, что он там делал, с кем встречался: это не в моих правилах. Если захочет сам расскажет. Он это сделает, я уверен в этом, сегодня вечером, когда мы соберёмся у мужа балерины. А пока мы сидим здесь в кабинете и каждый делает вид, что занят делом. Майор вот что-то хандрит: он надел шаманский костюм, но вместо того, чтобы выскочить на середину кабинета и закричать хриплым голосом и совершить ритуальное действие, он сел на стул в угол кабинета, за шкаф и опустив голову, в меховой шапке и с бубном в руке горько плачет. До меня доносятся всхлипывания майора, шёпот... Капитан подошёл к нему и что-то говорит, наверное, утешает: немногословно, по-мужски... Девушка-делопроизводитель очень расстроена, с ней может случиться нервный криз. Надо её утешить! Я встаю из-за стола и направляюсь к ней, увожу её в дальний угол кабинета, говорю несколько слов тихо-тихо: она начинает беззвучно плакать... До нас доносятся рыдания майора... Он плачет всё тише, видно капитан нашёл утешительные слова! Девушка смотрит за окно. Я чувствую, что моё присутствие и успокаивает и вместе с тем сильно волнует её. Даю ей воды и начинаю рассказывать про гейш, зная, что мои рассказы про гейш в своё время действовали на неё, уводили от действительности. Я сам пытаюсь представить ей гейшу за утренним туалетом, передать все движения: плавные, изящные, неторопливые... Вот она подходит к низкому столику с зеркалом, садится перед ним, берёт баночку с рисовой пудрой, кисточку. Описываю подробно всё, что находится на столике перед зеркалом. Рассказываю о том, какие мысли ей приходят при совершении утреннего туалета, что она видит за окном: снег и девушек под разноцветными зонтами на бамбуковых палочках... Наша юная гейша вспоминает о визите молодого врача из Киото (это её возлюбленный), она сидит перед зеркалом с распущенными волосами, сладкая улыбка застыла на белом лице, а золотая шпилька, подаренная ей мо-

лодым врачом, упала на пол...

Как страшно!

Кругом сугробы тяжёлые, громоздятся белые, а луна на небе жёлтая. На службе плачет майор, который уже день. Бедный военный чиновник сидит на стуле у окна, там где стоят цветы кабинетные, их поливает обычно девушка-делопроизводитель... Кстати она и сейчас стоит с кувшином, собираясь поливать их, но плачущий майор мешает ей подойти к окну. Она не просит его ласково: мол подвиньтесь, или пересядьте, пожалуйста... Она наклоняется к подоконнику, выгибая шею, ножку при этом поставив на носок: как бы не замочить майора... С кувшином наклонилась к цветочкам ползавядшим и поливает их.

Майор, который день уже придя на службу плачет, не сняв шинели, лишь шапку тяжёлую устало положив на стол. Я вижу, что и участливая девушка страдает, переживает вместе с ним. Но майор не из таких, чтобы вызывать сочувствие исповедями, он ни слова не проронит, а будет вот так сидеть у окна и плакать тихо, лить свои горькие слёзы. Мне, по правде говоря, не испытывающему особых чувств к этому военному чиновнику, тоже становится не по себе. Вид плачущего уже вызывает у человека способного страдать и плакать отклик в душе. Ещё несколько дней назад он лихо тряс бубном и шептал страшные заклинания. Наверное его навестили из тьмы злые духи, они мстят и терзают майора. Девушка-делопроизводитель полила цветы, неслышным шагом подошла к майору, погладила его по голове и тотчас же удалилась к своей машинке. Ему же от этих знаков сострадания ещё стало горше: он всей своей тяжестью опёрся на подоконник, голову тяжёлую обхватил руками и затрясся...

Я не мог больше оставаться в кабинете и дожидаться пока с майором случится страшная и дикая истерика. Надев шинель я быстро вышел в коридор. В ярко освещённом коридоре толпились люди и мне не удалось выйти со службы незамеченным. Пришлось сказать нездоровым, и не выслушав даже мнение старшего военного чиновника побежал вниз по лестнице, как будто с чердака, а не из подвала.

Пока я ехал на трамвае, к вокзалу, в надежде встретить в буфете Алёну, я думал о судьбе майора, в недавнем прошлом чёрство-

го, глуповатого военного чиновника, о непонятных и таинственных превращениях: о шаманстве, слёзном даре, так повергшем меня в изумление.

Жалуюсь Алёне на то, что бездарно трачу время в служебном кабинете. Как Акакий Акакиевич военный, или Поприщин! У Акакия Акакиевича, по крайней мере, мечта была: шинель! У меня же и мечты нет: есть шинель!

И совсем не дорожу ей: напади на меня грабители на канале, новую получу на складе...

Я по природе игрок, в театральном смысле исключительно. И родился я в квартале Достоевского. Помню, идём с бабушкой на Кузнечный рынок, там морозку продают, цветами торгуют. Шесть копеек тюльпан... К чему вся эта лирика, эти воспоминания...

Живу от среды до среды: по средам мэтр собирает свой сенакль. Скоро я буду читать из нового своего романа. Нового романа... Можно подумать, что их у меня написано множество. Нет, в тетради записи так называю... Мне кажется, что то чем я занимаюсь — т.е. сочинительство, это безумие... Завидую даже тем кто не пишет, а просто служит. Как наш весёлый капитан. Я же: лишился веселья... Только что чести моей не хватало ещё потерять. И всё-таки: от среды до среды живу. Там, в сенакле у метра как оазис среди пустыни будней. Среди пустыни служб моя тетрадь — колодец.

Какой сентиментализм однако!

Мне не стыдно исповедоваться перед Алёной: я ей многое из тетради читаю.

Сейчас занят сочинением "романа".

Вот что я прочитал Алёне:

Они давно меня томили (роман)

Д.К.

Они давно меня томили

Мои шею оплели белне водяные лилии на длинных тёмно-зелёных стеблях. Я только что выплыл из

омута и сушил свою мокрую одежду сидя на парапете у подземного перехода на Невском проспекте.

Я сушил свои ризы, а вокруг меня и мимо ходил бомонд и глумился надо мною.

Некоторое время до вспытия, когда я сидел на дне омута, а моя пустая бочка подобно громоздкому дирижаблю висела в июльском небе, мой безумный друг стал превращаться в птицу произнося магическое слово "вуд": кругом были цветы, а он в это время шёл по тёмной аллее.

Проходившая по той же аллее собака приветствовала чудесную метаморфозу негромким отрывистым лаем.

До этого мой безумный друг поведал мне Историю о прекрасной туалетчице. Её звали Лиза, ей было неполных шестнадцать лет, она жила и работала при общественном туалете у Литераторских мостков. Она разбила несколько клумб, где росли изумительной красоты цветы, а в окнах туалета круглый год цвели розы и тюльпаны в горшках. Больше я ничего не помню из этой удивительной истории. Но впечатление от услышанного было настолько сильным, что мой безумный друг, проходя мимо Катъкиного сада, вечером, когда уже были сложены огромные зонты, спросил меня: что с тобой?

В тот вечер — я не помню он был или не был — девушка в голубой куртке, охваченная безумием, но скрывавшая это, шла рядом с юношей, который ничего не замечал.

На крыше дома на той стороне улицы мы пречли:

Отель д'Эроп. Есть от чего помрачиться разумом.

Д.К.

Где мой милый я мог простудиться?

Не в нашем же театральном болоте, где все от кривых берёз, до кочек и мягкого мха — всё бутафория. Даже лица их сделаны, признаюсь тебе, из папье-маше! Но что страшно и удивительно — быть живым, вернее чувствовать в себе голос крови, видеть и понимать, ну хотя бы догадываться о происходящем и быть занятым в спектакле! В действе сем постыдным участвовать более не желаю! Этот крик души глохнет, не вылетев даже из меня, засты-

ваает в горле или даже, не родившись в мысли, умертвляется другой мыслью, летящей блестящим копьём — и кровь льётся и вот она умирает... Эмбрион слова, убиенный, вываливается в сверкающий эмальированный таз, где кровавые марли. Так я безмолвствую. Хотя я всё не о том. Хочу просить тебя об одном одолжении, думаю, что это не очень тебя обременит. В одно из воскресений намерен пригласить тебя для позирования! Да-да, не удивляйся, а исполни волю болящего. Краски я купил уже. Краски дешёвые, акварельные, те что дети используют на уроках рисования. Недалеко от служб, напротив церкви малинового цвета есть маленький канцелярский магазин. Впрочем, разве это важно! Я страдаю — болю — наверное простыл... Ноги всё время мокрые... Добился освобождения на три дня! Я знаю, что ты скоро уезжаешь, пусть ненадолго, но всё же... Кто знает! Бывает и так, что уезжают на три дня... Подумать страшно! Короче, я решил: пусть напоминанием обо мне останется мой портрет. Так сказать портрет художника в молодые годы. Вижу себя сидящим на маленьком балкончике, вдали Невы. Справа и слева минареты труб. Почему-то на память приходит известный портрет (видел в музее) чахоточной женщины, которую привезли умирать на юг. Помнишь, на белом мраморном балконе, в кресле сидит она, там — море, пальмы, глицинии ет сестера. У меня есть кактус, который обещает цвести маленькими весёлыми цветками. Его то мы и поставим вместо пальм, кустов роз и глициний, чтобы оживлял хмурое небо и разнообразил безрадостную флору Севера. С задумчивым лицом ты изобразишь меня... Думаю о замысле нового романа. О Прекрасной туалетчице, например, или о Девушке-дворнике, об их прекрасной судьбе, нелёгкой, но прекрасной. Не век же им горе мыкать, несмотря на красоту души, грёзы, даже может быть благодаря им они сумеют найти дорогу к счастью. А я им помогу. Жду тебя, мой милый, а пока пребывай в добром здравии!

Молчите проклятые струны

Плечусь в свой офис с тяжёлой головой: не выспался совсем. Целую ночь Орфей брэнчал на лире, хотя я просил его повесить лиру на стену, туда где гвоздь торчит. Мольбы мои до певца не дошли... Иду и спотыкаюсь, так спать хочется. В кабинете может

выплюсь на стульях, когда все уйдут на обед. Нет ничего не выйдет: майор достаёт из портфеля свёрток с колбасой, горчицей и хлебом. Нагреет себе чай, чтобы в столовую не ходить — какой сноб, посмотрите! А я пойду в столовую Военторга, где выстроятся офицеры с вольнонаёмными. Майор делает плаксивое лицо, наглый, бессовестный майор — будет просить о чём-нибудь, хотя знает наперёд, что все его просьбы и поручения выполняются мной крайне небрежно, не в срок, если вообще выполняются. Он начинает объяснять мне какие задания получили девушки-делопроизводители, сколько скопилось разных дел, показывает рукой на стол, где в беспорядке разбросаны бумаги. Я даже не слушаю его объяснений, пытаюсь заговорить с одной из девушек. — О чём разговор, сейчас выезжаю, бросаю майору, чтобы отстал от меня. Беру бумагу, прячу её в портфель, сажусь за свой стол и продолжаю читать роман. Но вместо того, чтобы следить за интригой, начинаю думать о судьбе Казанского царства, о его бесславном декадансе. Думаю даже написать роман, действие которого будет происходить в период расцвета Золотой Орды. Но эти казанские люди имеют также мало общего с теми славными золотоординцами как современные греки с их далёкими предками. Меня окружают казанские люди, пытаются взять с меня ясак. Не те времена, слава Богу. Голос майора: ты ещё здесь? — Вы что не видите: я всегда здесь. Иду, иду, какой вы право нетерпеливый! Он утверждает, что его дед — коренной сибиряк. Я делаю предположение, что его предки пришли в Сибирь с Ермаком. История Сибирского царства тоже чрезвычайно интересует меня. Но я не буду задавать ему вопросов. лучше пойду в библиотеку, там выплусь до обеда.

Я здесь одна, меня никто не понимает

Девушка-Шалапин сидела у меня на кухне и обличала тихими словами, но гневными очами казанских людей, среди которых она делает вид что живёт. Эта девушка-дворник давно вызывает во мне сочувствие, понимание артистической природы. Ближится зима, что девушку-дворника повергает в такое уныние, что и мне хочется уехать вместе с ней в тёплые страны, где нет ни снега, этих огромных белых монстров ростом с человека, ни лопат, ни железных ломов. Мне знакома эта неприязнь к снегу с казарменных времён,

но теперь — другая жизнь: Казармы больше не существует, она утонула, как Атлантида — канула в вечность — в лету! А если это продолжает интересоваться меня, то как художника... Мне дорога правда, даже дороже зимы с ворсистыми сугробами! Девушка—Шалипин хочет петь, а не даёт ей петь! Квартиры то нет своей, живёт в казённой комнатухе. Как похожи их судьбы, думаю я, и как не похожи они между собой: Лиза, Прекрасная туалетчица и эта девушка—дворник. Позже они подружатся и станут как две сестры. Может быть я напишу роман "Две сестры", где расскажу историю их дружбы. Конечно это будет ученическое подражание М.Прусту (даже само желание назвать мой сверхроман, куда должен влиться и этот маленький роман о девушках, "Содом и Гоморра" разве это не плагиат?! Но этот роман о двух полусиротках будет дорог мне, ибо продиктован вдохновением... Вы только посмотрите как держит она чашечку: двумя тоненькими точёнными пальчиками. Да и сама чашечка приобретает пену, словно она редкой работы фарфоровая чашечка. Девушка—Шалипин подносит чашку к маленьким губкам и маленькими глотками пьёт кофе со сливками. Она похожа на фарфоровую фигурку. Передо мной блестящая фарфоровая птичка с женской головкой. Птичка божья из фарфора! Вот её история: ей захотелось учиться, она стала даже поступать в институт, но туда её не приняли, объяснив что девушек—дворников туда не берут. Родом она с Волги, голос у неё удивительный, когда поёт сама чуть не плачет, с влажными глазами, романсы или народные песни, особенно если стопочку выпьет. Её бы не взяли в артель баржи по Волге тянуть: маленькая она, хрупкая... Куда ей с мужиками матерыми, здоровыми в одной упряжке! Приехала она на Неву, думала здесь бурлацкой работы нет! О сцене мечтала, в звезду свою верила! А что получила: мусорные бачки, да железный лом, да лопата... Бабы у них дворники, здоровые что те мужики: матом ругаются, бачки переворачивают, смеются.

Таким сильным было её огорчение, что она позвонила мне. Как я мог утешить её? В растерянности предложил ей выйти замуж за кого—нибудь. — Но за кого, за кого? горько повторяла она, аккуратно поставив чашечку на блюдце, даже не слышно было как зазвенело блюдце от прикосновения чашечки. — Ну найди кого—нибудь! воскликнул я, понимая бесполезность совета, хотя мне и

казалось, что замужество — единственно верный путь для того, чтобы избежать зимы.

В Тавриде в прудах плавают красные рыбки с золотыми плавниками, цветут белые лилии и поют лягушки. Что, скажите, может быть удивительнее и прекраснее пения лягушек?! Причём сами лягушки не видны, слышны лишь их звонкие голоса. Я бы сравнил их пение не с трескотнёй мелодичной, а с трелями соловья. Так шествуя по аллее, ведущей к морю, среди деревьев инжира, граната, ветви которых были отягощены плодами, среди рощиц оливок — серебряные листочки чуть-чуть дрожали, нежной такой дрожью, а не нервной — я слушал пение лягушек!

И вот я вернулся в своё родное болото: здесь у нас чахлые берёзы и облезлые ели, здесь торчат камыши и шелестят, лягушки наши не поют, а только квакают. И сам я уподоблюсь кулику, и в приступе квасного патриотизма буду петь хвалебные песни моему болоту — но что скажите мне за голос у кулика? Темно в нашем кабинете, он похож на болото: чавкают сапоги ходящих-служащих, постоянно кто-то приходит по делу или просто так. В углу кабинета растут кривые берёзы и трясутся осины, а за окнами наверное дождь идёт... Трамвай — дзынь-дзынь... Вчера окна были у самого потолка, дотянуться до них я не мог, лишь луч дня падал сверху, сегодня утром окна низки до смешного, почти на уровне земли. Те, с которыми сижу я в кабинете одеты в зелёное, но не в зелёное изумрудного или бутылочного или морского цвета — в защитного цвета! А взгляды их тусклы, а ходят они мягко ступая, как бы по моху, по кочкам. Мне постоянно слышится хлюп-хлюп. Удивительно, что сверху ничего не льётся: я в болоте, вместе с ними, но сухо! Всё равно мне не по себе: пусть даже я не мокрый. Я ёжусь, ёрзаю на стуле, кладу ногу на ногу, руками обнимаю грудь, сижу задумавшись, авось страх пройдёт, холод отпустит — страх и холод от осени, от службы на болоте! Не могу полюбить эту вечность болот! А если я буду спрашивать их, каково им, ну хотя бы девушку-делопроизводителя, ту, что перебирает какие-то бумаги рядом. Если попрошу её объяснить... Не стану этого делать, лучше замёрзну от страха и удивления! Чтобы не выдать моего состояния отвернусь к стене и открою книгу: да ведь она уже

с утра открыта. А дева русская Гарольда презирает!

Пишу, рисую свои композиции как Кандинский или Малевич? В порыве экстаза, приступа радости, безумия пишу. Писать — старое слово. Как Малевич малюю свои картины. Как безумный Врубель! Сначала долго брожу и слушаю музыку, смешиваю краски. Эти лица, где сухо, где не цветут в порыве безумия дикие улыбки, смех у них жалкий и ядовитый как белена: взгляды их — тёмно-зелёные. Мне бы как древнему японцу: быстро-быстро тушью по листу! Мои бунты смешны, абсурдно моё ежедневное хождение на службу. Но эта серая подкладка не заметна, потому что она подкладка — шёлковая, телу приятная. Музыка, которая раздаётся откуда-то из меня, из моих глубин, а может у меня вместо сердца орган? Не знаю, вскрытие покажет. Она говорит что ей не скучно и хорошо со мной: я недоумеваю. Ведь я её не забавляю? Значит у неё тонкий очень слух и она слушает мою музыку.

Я безусловно одарён. От природы, от рождения щедро одарён ленью. Лень мой главный талант, моя единственная добродетель. Напишу похвальное слово лени: ведь она сестра безумия! Я счастлив, потому что с детства не был приучен ни к какому занятию. С детства понял я, что праздность мой удел. Когда маленького мальчика в панаме спрашивали: Сашенька, кем ты будешь? — Дворником! Дворник представлялся мне самой богемной, самой праздной фигурой в микромире Толстовского дома, в пространстве детства — парадизе — между Фонтанкой и ул.Рубинштейна.

Я никому не делал зла, т.е. добра, потому что добро-зло это единая категория нравственности, две стороны одной медали: отсюда единство и неизбежное противоречие. С младых ногтей я усвоил эту диалектику. Догегелевским, домарксовым сознанием аборигена с острова между Фонтанкой и ул.Рубинштейна. Местечковым своим умом.

Вместо сердца орган: красный с золотыми трубами и блестящими белыми клавишами.

Вот что утешило меня чрезвычайно, в дни тоски и отчаяния прочёл у Чехова (письмо из Венеции): праздность — необходимое условие для счастья.

Можно конечно понять моего начальника и компанию: само моё присутствие раздражает и выводит из себя. Вы видели изображения

танцующего Шивы? Тонкая талия, крепкие бёдра, блаженная улыбка на устах. Целый день я танцую, а когда надоедает, сажусь на стол в позе лотоса, закрыв глаза. Иногда майор просит пересесть меня в угол. Я покорно выполняю его просьбу.

В парке Чадр цветут ещё розы (из крымских воспоминаний, осень)

Случилась перемена в погоде, стало беспокойно на море. Объявили о том, что купаться запрещено: из-за волнения на море. Из-за шторма! Меня клянут мои начальники за непослушание, ими же самими придуманную строптивость, нежелание подчиняться т.н. уставным требованиям. Совсем я не таков! Если запретили купаться: не полезу в море, близко не подойду. Пойду лучше вдоль моря по царской тропе. Подойдя к беседке остановлюсь, буду смотреть как море блестит и скалы серые из воды торчат. Который уже день из головы не выходит сюжет моего романа о Прекрасной туалетчице. Что там нового на Литераторских мостках? Плыву ли я на прогулочном катере у берегов Тавриды, а мысли мои далеко — у Литераторских мостков! Мне страшно за Лизу: это чистое невинное существо. Что день грядущий ей готовит?

Вот она стоит — нежная Лиза, волосы аккуратно уложены под платком, с ведром: воду наливает. Лицо у неё задумчивое, всё в одну точку смотрит не мигая, а вода льётся из блестящего латунного крана, вода всё бежит. Заходит старушка полугорбатая в сером пальто и в ботах, она в церкви неподалёку уборщицей работает. — Что ж ты милая воду наземь льёшь, ноги замочишь. Кран сама закрывает и берёт у девушки ведро. Лиза со слезами благодарит добрую старушку и идёт за ней на улицу. Не клумба, а загляденье: ухоженная заботливыми Лизиними руками, цветёт она на радость всем! Не только посетителям общественного туалета, завсегдатаям, а и тем кто прогуливается мимо, к кладбищу идёт или просто так. Лизу любят и всячески оберегают девушки, которые собираются днём в туалете и предлагают помаду губную, чулочки и всякую другую галантерею. Есть и такие, что приносят Лизе гостинцы: кто сигареток... Только спрашивается зачем Лизе сигаретки если она не курит. Она всё равно отдаёт их посетителям мужской половины или старушке-расклейщице объявлений и газет. Всякие другие незначительные подарки приносят девушки Лизе. Один раз кто-то

шляпку с вуалькой подарил. О посетителях мужского отделения отдельный разговор: для них Лиза как сестра родная. Всякий оказывает Лизе политес. Что и говорить общество собирается отменное. Не надо только думать, что все сюда случайно заходят: по нужде, как старушки ни скажут, напротив для большинства это место ранде-ву!

Спите заморские гости усните

Окно занавешено чистой белой занавеской, на ней вышиты толстые синие коты с розовыми бантами, окно то как всегда у потолка. Под подушкой моей роман "Рок-н-ролл", написанный Крошкой Ру, я его давно читаю, очень уж он мне нравится. А под кроватью - жёсткой с железными набалдашниками - несколько книг лежит, а какие не разобрать: совсем ещё темно. Я только руку вниз опускаю и глажу корешки книжечек моих, пытаюсь наощупь их узнать: здесь и Рембо, многотомный словарь французского языка Робер, и переписка Ивана IV Грозного с князем Курбским, "Житие протопопа Авакума, им самим сочиненное", все разложены на газете под кроватью. А на табуретке рядом: начатая мной рукопись научной работы "Ещё раз о геобразмах в сленге системы". Мой сосед спит на широкой скамейке у стены, ему не жёстко, ему шинель подстелили. Он тоже болеет, его и меня прихватила на время болезни Лиза. Мы лежим в её комнатке при общественном туалете у Литераторских мостков. У меня острый ринит (насморк как говорят простые люди) на нервной почве, а у него эйдж: один визитёр сказал, что это звучит как эдельвейс. Он сам себе диагноз поставил. Лиза спит у окна на тёплой и мягкой телогрейке: это я принёс её, мне как чиновнику военного ведомства положено казённое бельё (портяночки, нижнее бельё, тёплое и холодное, носки и ватничек-телогрейка). Лиза спит в тёплом белье, я так посоветовал, чтобы не простудилась. Лизины грёзы. Спит и кот учёный на рогожке.

У Литераторских мостков

Самой первой приходит в нашу богадельню, келью, странноприимный дом одна знакомая старушка - расклейщица газет. Она приносит с

собой утреннюю прохладу, на дворе первые заморозки. Она греет красные большие руки у батареи, поставив табуретку к самому окну, Лизины ноженьки между ножками высунулись, спит сердешная. А старушка уже чай греет на примусе в закутке. Подходит ко мне, садится на край кровати, грузная, но не больная, большая старуха, рассказывает мне про племянницу, затем идёт пить чай с бубликами, попив чаю снова садится ко мне на кровать, спрашивает о соседе: я даже имени его не знаю, про Лизу, про старуху-банщицу и перекрестившись, направляется к двери, где её ждёт железная банка с клеем и брезентовая сумка с газетами.

Закрывает за собой дверь и уже с кем-то разговаривает, на женской половине, ведь у нас две двери: одна ведёт на женскую половину, другая на мужскую. По голосу узнаю старуху-уборщицу из церкви. Говорит, что в церкви много народу вечером будет, Дмитриевская родительская суббота, о чём-то шепчутся и расходятся. Одна заходит к нам в комнату, другая выходит на волю.

Солнце пробивается как подснежник весной сквозь занавеску в Лизину комнату. Юноша уже проснулся и попив кофею со сливками в обществе своей неизменной компаньонки бывшей банщицы из Щербакова переулка, живущей почти безвыездно здесь, принялся читать мемуары одной американской гетеры. Она была очень похожа на мою покойную подругу Лию Ш. Также как она, та была рождена для вдохновения, звуков сладких и любви. Свой опыт жрицы любви она виртуозно доверила бумаге: в отличие от Лии! Да: Лия не успела выговориться (если не считать конечно тех исповедей, которые выслушивал я). Мало кто понимает: как можно жить в любви как в искусстве. Не продаваться за копейки, за бумажки, нет! А как танцовщицы отдаются взгляду, выражают себя всем телом...

Юноша лежал, освещённый солнцем у стены, а в тёмном углу сидела старушка и видела творческие сны (ей с недавних пор стало казаться, что у неё дар... Вернее, муж балерины и капитан поощряют её занятия живописью. Для них это развлечение: видеть как старушка — как ребёнок! пишет наивно и искренне свои картины. Цветы, зверей. Т.е. то, что поразило в своё время Кандинского в вологодских деревнях, где он видел разрисованные печи). Важная старушка сидела на табуретке, не замечая ни солнца, про-

бывшегося сквозь занавеску, ни эротических картин, которыми была наполнена комната до краёв...

Алёна позволила мне на службу около полудня, когда бывает брек, т.е. перерыв между занятиями. В классе остались мои туземцы, в углу скелет, на столе – на оранжевой клеёнке препараты внутренних органов. С Алёной мы договорились встретиться в обычном месте: в сквере у разрушенной бани на Щербаковом.

Потом я вернулся в класс и мы продолжили с замечательным доцентом Л. лекцию о физиологии пищеварения. У меня идут сплошные шестереки, об этом я жаловался Алёне. "Шестереки" это военнопереводческий сленг, значит "переводить три лекции подряд". У нас с капитаном джентлмен эгримент: я тарабаню шестереки, он выполняет экстралингвистические поручения. Вершки-корешки, одним словом. В этом проявилась ещё раз (по их мнению) моя дурость (а может быть так и есть) – они не понимают моей любви к слову, и неприязни к ним. Разумеется лучше танцевать словами (мне видится большая связь между хореографией и переводом) чем сидеть с ними в кабинете. Капитан же гнушается нашей черновой переводческой работы.

Он похож на арабской породы скакуна, а не на лошадь просвещения.

Добился освобождения на три дня!

Какая сладость в этом слове! В этом "освобожденьи"!

...и правда: Лермонтов был военным и понимал.

И я понимаю: "без этих трёх блаженных дней", о!

До многого доходишь со временем. Например до сочувствия одной поэтессе, к которой ранее не было сочувствия: а именно к Э.Гиппиус. Когда-то мальчиком читал: "хочу цепей!" и про себя говорил: ну не дура ли!

Теперь когда вижу нашего старого подполковника (не путать с новым начальником!), который плачет ночами, считая месяцы до увольнения (до "освобождения", если угодно)... Да и сам думаю, что будет когда меня выгонят и я стану вдруг похожим на дикого гуся: лети куда хочешь!

Нет-нет, ещё послужим, говорю себе, сжавшись в серый комочек: гадкий утёнок я!

Да стоит ещё служить, чтобы испытывать сладость этих трёх дней!

Я софийствую так сам с собой. Подтверждая справедливость формулы крымского генерала Калашника: все переводчики пьяницы или сенеки. Известно реноме этого генерала в переводческом мире: он — ...! (нецензурное слово).

Я признаюсь: люблю законченных, совершенных персонажей в жизни (о Моем!). Если ты — генерал Дуракин, то будь им! Напомню, что генерал Дуракин — герой одноименного романа графини де Сегюр, урождённой Ростопчиной. Одна из любимых книжек маленьких французов.

Да, разумеется, за три дня я смогу поразмыслить о разных предметах. Вырвусь из душного кабинета, где служат бесстрашные офицеры.

Есть время привести в порядок мои Записки. "Записки" я употребляю в ироническом смысле. Я же не кавалер-девица Дурова, героиня патристической войны двенадцатого года. По совету профессора я должен взять эти мемуары в библиотеке и выписывать лексику, потом написать статью о лексике войны двенадцатого года. Он не знает, что вместо статьи я пишу мемуары на французском языке и, когда приходит вдохновение: романы, а точнее: конспекты романов, на живом "великорусском" языке (я любитель этимологии, думаю, что "роман" это сочинение написанное на провансальском яз., в отличие от "мёртвой" классической латыни).

Пусть капитан хоть три дня попереводит.

Он воображает себя каким-то арабским скакуном: посмотрите как он ходит задрвав голову кверху, все любят его! Он галантен и учтив с девушками-делопроизводителями, снисходительно смотрит на офицеров службы. Да, он правильно ведёт себя: офицеры службы видят с кем имеют дело! Если бы он открыто презирал их, то они ещё больше проявляли к нему почтения! А так: просто держат дистанцию. Он богат, у него квартира в Москве. Он в быв.Фехтовально-гимнастической школе долго не задержится: в Африку уедет. А вы тут останетесь. И то хорошо, думают про себя в прошлом сибирские или туркестанские офицеры, и то хлеб! Всё-таки в городе служим-с. Не в тундре, не в пустыне.

Моё же поведение по отношению к заурядным офицерам службы истолковывается ими не верно. Считаю их людьми, я уважаю в них "человека". Они платят мне злобой, придирами.

Мне не хватает капитанского снобизма, а обходиться с ними

так как делает он, я не умею.

Три дня, три блаженных дня!
Есть время подумать и о романе.

За эти три "блаженных" дня вспомнил и годы ученичества в Лефортовской слободе, рядом с ликёркой, на Язуе.

Вспоминается, например, такая музыка: "полька-бабочка"!

Да: которую исполняет в Лефортовском парке военный оркестр под управлением майора по прозвищу "Поль Мориа". Музыка весёлая звучит на финише, когда первые курсанты пересекают линию. А мы с Базилем прибегаем последними: это у нас такое правило — "куда спешить, к чему стремиться"?

Иногда и Женя С. с нами "прибегает".

Мы как и все делаем вид, что изнемогли от бега. Да так оно и есть: изнемогли! Дышим тяжело, подходим с остальными к зелёным военным термосам с чаем. Отдыхаем под липами.

Ещё я вспоминаю лазарет. Как-то с Базилем вместе совпало нам лечиться. Лазарет это отдых от военных маразмов, от "подъёмов-отбоев", от уборки снега, от кухни и других казарменных вещей.

Как писатель (при всей нескромности и высоте титула, я всё-таки являюсь таковым) родился я в лазарете Лефортовой слободы. Там записал я мои первые воспоминания. Если не считать рассказа, написанного на французском языке, который вызвал похвалу полковника П., бывшего разведчика-нелегала.

Я всё отвлекаюсь: не могу сосредоточиться. Разное всё припоминается. Вот Базиль вечером читает мне стихи в казарме. Разве не трогательное воспоминание?

А наша поездка в Переделкино. А поездка в Ростов Великий. А его приезд ко мне в Одессу, куда я был сослан как Пушкин вместо Африки. Базиль, приехав в отпуск из Германии в Москву, не поленился сделать кряк, чтобы навестить меня в изгнании. Мы идём с ним по берегу Чёрного моря в сторону монастыря. Едрут начинается дождь, мы промокаем до нитки и мокрые приходим в монастырь, на следующий день едем на дизеле в Иппинёв. У него ужасный характер: он высокомерный, капризный... Мне кажется, я только мог его "выносить". Не знаю, что он думает обо мне. Наверное, то же

самое...

Во всяком случае у нас была дружба "в упор, без фарисейства". Мы расходились и сходились (так же и эпистолярно). Но: кроме Базиля никто не приехал навестить меня в одесском изгнании. (Справедливости ради скажу: маман приезжала, но это было позже, во время второго одесского сежура, то уже была не ссылка, а скорее, действительно, "сежур".)

После трёх дней "освобождения" прихожу на службу.

Возглас радости, обмен любезностями: меня окружают девушки-делопроизводители — ах милые мои! и офицеры кабинета.

Новый наш начальник заходит посмотреть: в чём дело. А это вы явились! Поправились? Ну-ну.

Я какой-то тихий стал после "болезни", даже робкий. Застенчивый. Во мне такое иногда состояние пробуждается: может быть это "моё истинное": быть блаженным, вот так ходить по службе и улыбаться. Почти не говорить ничего. Смотреть начинают подозрительно: друг друга в кабинете изучили и знаем, что от кого ждать.

Столько шуму бывало устрою, столько разговоров. Сам себя уже не помню, с пафосом говорю. Начальник только слово вставить может: дайте и мне мол сказать. Ведь я подполковник, в политической академии учился!

Я почти как кот булгаковский ему: знаем, там все такие учатся! Витька, например.

А какие генералы были, уже лучше и не вспоминать, вы говорите: подполковник. Называю несколько генеральских фамилий с сомнительной или бесславной репутацией.

Это было при прошлом начальнике. Напомню, что его "ушли" из нашего офиса из-за любви. Да: романтическая история. Влюбился в одну вольнонаёмную даму службы. Везде с ней появлялся, как Людовик с мадам Помпадур. Но та была, простите, мätресс де титр. А это подполковник забыл какие времена. В самом деле: о темпора о морес! В утешение ему дали баранью папаху. Если быть до конца откровенным и забыть мелкие злодеяния, которые он мне чинил, то стоит признаться: его роман с вольнонаёмной дамой заставил меня изменить отношение к нему. Потом когда я увидел его случайно во дворе школы, уже в бараньей папахе, то подумал с грустью: а ведь он не похож на барана.

Он поднявшийся до влюблённости, до куртуазности семнадцатого века, посмеив завести мэтресс де титр! Вдруг оказался униженным до такого состояния. Он не посмел отказаться от каракулевой папки, от мечты заурядных людей.

При встрече он, конечно, делал хорошую мину. Но я чувствовал, что он понимает низость своего состояния.

Всё-равно человек когда-то поднявшийся до влюблённости уже получил право на уважение к себе.

Выхожу из стеклянного павильона метро похожего на китайскую пагоду, которую мог бы построить Ле Корбузье.

Глотаю морозный воздух. Уже утро, но всё тонет в темноте: люди, трамвай, здания. Островерхие крыши всё же отчётливо видны на светлеющем небе. Эти дома в который раз заставляют меня забыть где я и куда бреду. Скандинавский город, северная химера.

Пройдя квартал в направлении службы вдруг вижу на крыше одного из домов сидит Конфуций. Несмотря на неяркость и даже туманность рассветного часа я смог различить красный пёлковый халат с жёлтыми цветами, чёрную шапочку с кисточкой и туфли с загнутыми носами. В тот момент, когда я заметил его, он был занят письмом: на жёлто-белом свитке он что-то писал, обмакивая кисточку в фарфоровую баночку с тушью.

Писал он очень старательно, с любовью выводил иероглифы как ученица. Лицо его было прекрасно: румяное от мороза, чёрная борода с серебряными волосками, чёрная косичка выбилась из под шапочки.

Каким же было моё удивление, когда заметив меня, он стал вдруг церемониально кланяться, отожив свой вощённый свиток и баночку с тушью. Как будто он ждал, когда я буду проходить к себе на службу... Я тоже ответил ему церемонным поклоном, сложив руки ладошками: так в фильме раскланивались гейши во время чайной церемонии. Он был рад встрече, это видно по всему. Я же испытывал некоторое замешательство: не каждый день виделшь Конфуция, сидящего утром на крыше дома.

Хотя я по роду своих занятий очень далёк от всего изысканного: китайского или японского, но значения жестов Конфуция мне показались простыми и понятными. Я понял, что он был рад встретить меня, желал мне процветания и благополучия, душевного спокойствия.

Мне было неловко от того, что я опаздывал на службу и должен был проявить суетливость. Но философ правильно понял меня и сделал жест, означающий: всего доброго, тысячу комплиментов! Обескураженный, да: почти потрясённый увиденным, я подошёл к двухэтажному дому во дворе, где находился офис...

Мой нос вдохнул приятный запах ванили и тёплого хлеба, ведь по соседству располагался хлебный завод.

После ледяного холода - Маркиз де Кюстин утверждает, что город находится в тундре - попадаю в душный тропический кабинет службы. Повторяя про себя фразу "нет лучше сгнить в стуже лютой" улыбаюсь майору. Он увидел меня и содрогнулся всем телом как будто я шаман на самом деле, а не он. Разумеется, во мне есть что-то от шамана, хотя я не ряжусь как майор в шаманские одежды и не пляшу с бубном в этом кабинете, заклиная злых духов. Он воспринимает себя шаманом, потому что в прошлом - сибирский офицер и очень любит наряжаться.

Что-то тривиальное говорю девушке-делопроизводителю. Улыбаюсь ей. Она смущённо прячет лицо в ворох бумаг. Стыдливость украшает девушек.

Мне не совсем хорошо, после болезни я не успел окрепнуть, влажный и жаркий воздух кабинета вызывает тошноту. Сажусь, покачиваясь за стол. Ничего, привыкну как-нибудь, ведь раньше здесь служил...

Да: в кабинете одно время года, как говорят в Эфиопии.

Там, рассказывают всё время весна. Не знаю.

На этой службе во всяком случае вечное лето.

Ни сезона дождей, ни муссонов, ни сирокко...

Плавают рыбки, верещат попугаи...

Меня дурманят необыкновенной красоты тропические цветы (вспомнить хотя бы таможенника Руссо). Офицеры похожи на боевых слонов. У них толстая кожа, бивни... Они поднимают хобот и кричат. Похожий на павлина начальник с завитой чёлкой важно рассказывает по кабинету.

Неволью попадаешь под очарование службы. Ах если бы не болезнь служил бы как Гоген на острове службы. Наслаждался бы экзотическими красотами, писал Мемуары... Отвечал бы взаимностью этой девушке-делопроизводителю словно смуглой островитянке вечером когда веет прохладой с океана... Но: это мне чуждо всё! Их зо-

лотые плоды, все экзотические красоты службы — мне северному аборигену!

Но: живёт во мне страх быть изгнанным из службы—парадиза, где ни зимы, ни осени, а вечное лето! Абориген воображающий себя попугаем на странном острове службы...

В часу пятом уехал со службы на трамвае. Пробирался словно в зарослях бамбука, но напрасно: начальник похожий на павлина даже не посмотрел в мою сторону. Он важно ходил взад—вперёд мимо кабинета.

Вот я еду в трамвае к Литераторским мосткам, везу в портфеле обещанную юноше книгу: Мемуары Гогена. Этот странный юноша все тайны сердца открывает Алёне, не мне... Я, конечно, далёк от ревности: это смело и нелепо! Он относится ко мне с большой нежностью, несчастный юноша, но его очевидно удерживает стыд, или скромность? Алёне нельзя не открыться, она харизматическая личность! Впечатлительный и тонкий юноша сразу же доверился ей.

Полина Макова, которую я встретил в богемном буфете при вокзале, рассказала мне о замысле своей новой повести. Её героем станет юноша, заболевший таинственной болезнью эйдс, чумой нашего времени! Времени было мало и я не стал расспрашивать её о развитии сюжета, действующих лицах и т.д. Она обещала прийти на Литераторские и там читать отрывки.

Капитан наш нашёл наконец себе комнату: на Садовой. Собирается покупать машину. Потом поедет в Африку зарабатывать себе на жизнь. Сегодня его не было на службе, уехал в охотничье общество, попросил меня "попахать" за него.

Проезжаю по мосту и люблюсь чёрной водой в прорубях. Лелею заветные мечты, укутанный в кокон тёплых чувств, светлых мыслей. Того и гляди не дожидаясь лета, набухну и превращусь в бабочку. И буду летать целый день, садиться на прекрасные цветы... Огромное количество минут! до самого вечера...

А там и умру в ночи.

Я прохожу мимо ограды и спускаюсь в небольшую уютную комнату. Там уже сидит Алёна и о чём то говорит с юношей.

Выглядываю наружу: декабрь. Чёрные деревья на фиолетовом небе.

Плывут льдины по реке.

Вздыхаю, но не горько. Выхожу на берег реки. Вот оно — моё настоящее (в смысле "имеющее ценность", "подлинное"). А этот в буквальном смысле опереточный антураж: служба с офицерами (военные чиновники!), кони пасущиеся на стадионе физкультурного заведения, бестиарий с бочкой — вторая реальность.

Меня — потомка аборигенов — заставляют играть роль вместе со всеми в этом водевиле.

Но я не кляню свою судьбу! Нельзя, императив такой...

Я думаю только: как лучше исполнять доставшееся мне. Думаю без лукавства, ведь я сейчас один на берегу реки. Всё что есть во мне лошадиного, обезьяньего, попугайского исчезло в это утро. Как сон, как утренний туман!

Приехали туземцы из Африки. Точнее: с острова, где горы, океан, в пещерах там хоронят покойников, а потом перебирают их кости и бережно заворачивают в чистые тряпки. Они смуглы и словно выточены из эбенового дерева. Тоже театр!

Я работаю с ними: хожу и толмачу. Туда-сюда.

Это уж лучше чем сидеть с майором в душном как тропический лес кабинете, где нормальные люди сходят с ума от кабинетной жары, запаха кабинетных цветов (они сладко пахнут, ядовитые цветы), верещанья попугаев...

Девушка-делопроизводитель стала невозмутимой, как больная.словно отсутствующей, со стеклянными глазами... От палящего солнца кабинета она почти ослепла. Но продолжает ходить на службу, боясь потерять это место. "Тёплое", убеждают её родственники. Она и сама перестала замечать за собой странности: здесь все почти такие.

Бедная девушка, так любившая мои рассказы про гейш и разное другое, влюблённая в меня тайно, безответно, безнадежно.

Грустная история.

На этой службе я как бы не кстати. Я — Гоген-художник... Я — абориген-чухонец. Я — лошадь Просвещения. Я — говорящий попугай. И прочая, и прочая.

Так думал о себе мучительно я к исходу третьего дня освобождения. Завтра вновь поплечусь в офис.

Думал также о Маркизе де Кюстине, о его "пасквиле" сочинённом о России (выражение Николая), о чувстве странном: мне кажется что я тоже путешественник и мои наблюдения до некоторой степени совпадают с Маркизом... Это были самые первые, т.е. ошибочные впечатления. Пока читаешь: ты как будто сам из Парижа злой на корабле к Васильевскому острову пристал... Да, разозлённый Маркиз (потом мне станут известны некоторые причины его обид и гнева) приехал в Россию и не ошибся, нашёл то что хотел. Потом вернулся в Париж и написал во французском стиле. Вольтер был мудрым и в Россию не поехал, жил в Фернее, переписывался с Екатериной. Она ему писала: в Вашем возрасте пить столько кофею неблагоприятно! в таком духе.

Да умом французским Россию не понять.

Всё-таки Вольтер был умным человеком: и не приехал! А "Историю Петра Великого" пробовал у себя дома писать. Вот оно французское благоразумие. Золотая середина!

О России всего лучше во Франции писать: так делал например Бердяев. Так же поступал беллетрист Тарасян (член французской Академии Анри Труайя).

Мне бы хотелось написать "Клеветникам России" если б Пушкин не сделал этого "на свой необычный манер".

От судеб спасенья нет: м.б. и мне будет несчастье на родину клеветать. Не дай мне Бог!

Надо полюбить этих безобразных защитников, сибирских и других офицеров, с которыми вместе защищаю на свой манер родину. Вереща в служебном вольере. Как попутай небесного цвета.

У нового начальника красиво завита чёлка, у него ухоженные усики, он вообще хорош собой. Весь ухоженный, холённый. Мундир у него видно по всему совсем недавно пошит: сидит на нём отменно. Что ещё сказать: красив новый начальник как расписной пряник! Я им сам невольно люблюсь.

Хотя известна моя неприязнь к начальникам: важным и надутым птицам!

Но уж лучше быть таким как наш новый начальник: молодцеватым подполковником с завитой чёлкой. Да: чем другим каким-нибудь неопрятным и грубым офицером. Таких правда я не помню. Всё мне

попадаются образцовые начальники: франты! Немного глуповатые, фанфароны, пустомели... С такими и служить то легче! Попадись умник: из службы ад сделался бы.

Был бы я сам поумнее то и служилось бы мне легче. Дело даже не в уме: глуповатым служба мёд! Меня подводит темперамент, даже, точнее говоря, патологическая весёлость. Почти постоянное эйфорическое состояние. Это м.б. и хорошо, даже идеально: такое бьущее через край душевное здоровье. Да, по-гречески эйфория это прекрасное самочувствие, а для совр. психиатров - аберрация! Отклонение от нормы. Нормой считается "нормальное" состояние, которое они и описать не могут. Т.е. ни то ни сё. Животрустное состояние. Мне очень нравится "пушкинское" состояние - светло-грустное! Но и с таким состоянием на службе делать нечего. Сказали бы: одна из стадий маниакально-депрессивного психоза. Так же как и эйфория, т.е. прекрасное самочувствие. Чехова бы давно уже выгнали со службы. Циклотомия!

Мне становится чрезвычайно забавным сочинять всю эту службу: весь антураж, офицеров и себя, и девушек-делопроизводителей. Закручивать всё действие на службе. "Никто не скажет: я безумен!" Никто слава богу не знает о моём сочинительстве. Сразу бы объявили безумным. И в жёлтый дом! И на цепь!

А так у меня репутация не совсем конечно нормального, скажем, странного офицера... Который громко смеётся, да: вдруг засмеётся, а видимых причин вроде и нет! Ну м.б. вспомнил что-то смешное... Читает часто: как голова только не болит. Но у всех в конце концов свои извинительные слабости.

Мой начальник не думает, что я уж совсем "конченный" человек-офицер. Ещё медаль получите! Помните моё слово. Работу свою Вы любите. Будьте собранней, не летайте на облаке! Удивительное терпение проявляет к рассказам майора одна из наших девушек-делопроизводителей. Воспитанная девушка, ничего не скажешь. Она отрывается от своих бумаг или перестаёт стучать на машинке, когда майор вспоминает очередную историю про свою дочку, или про жену (казалось бы о ней он мог бы не рассказывать, ведь она служит вольнонаёмной в другом кабинете), или про бурундучка, которого купили они с женой на Кондратьевском рынке. Купили не для дочки, она уже взрослая, скоро в институт поступать! А так, из любви к животным. Ещё есть много историй про

службу: за двадцать лет везде с женой послужили!

Вот и тебе бы, говорит он обращаясь ко мне, не мешало везде послужить, страну посмотрел бы! Как я! Мы с женой и в Сибири, и на Украине, и на Дальнем Востоке...

Что это за служба, продолжает пенять мне, Москва - Ленинград? Ха-ха, ещё Одессу вспомнил, море!

Эх, вот выйдешь замуж за офицера - девушке-делопроизводителю - везде наездитесь, как мы с женой, по разным гарнизонам!

Я не боюсь проявить неучтивость или прослыть невоспитанным: поворачиваюсь спиной, иногда закрою уши. Вторая девушка-делопроизводитель заболела или сказала больно. Ей нет и двадцати лет, она нежна... В её годы, проводить время в этом страшном и опасном кабинете: пусть всё это и декорации, всё надуманное - бутафория! но привыкаешь ведь, принимаешь за действительность... Это должно действовать на неустойчивую психику юных девушек, незакалённые нежные создания.

Как они любят играть, офицеры нашей службы. В шкафу хранят маски и костюмы, баночки с кремами, гримом, весь свой любительский театральный реквизит. Переоденутся за шкафом и начнут скакать с завываниями, гиканьем, улюлюканьем. Вдруг заплачут - жалобно-жалобно. Засвистят. Закривляются. Застынут в самых невероятных позах. Признаюсь, что и на меня, казалось бы уже привыкшего к этой буффонаде, некоторые эффекты действуют: то засмеюсь, то испугаюсь...

Кажется, что этот театр никогда не кончится. И длится он месяцами, годами... Как жизнь: без начала и конца. Поэт прав!

Спасительный агностицизм: не знать своего состояния.

Рассчитывать на сострадание: ведь это - слепота!

Быть "слепым музыкантом". Тебя жалеют на службе, но не прогоняют. Платят исправно "денежное довольствие", т.е. по латински говоря: сольд! как наёмнику, как солдату!

Странное и противоречивое состояние... Да: парадоксальное если начать рефлексировать. Т.е. задумываться. А зачем задумываться-рефлексировать?

Будучи по природе своей любомудром, или софистом, вдруг переверну всё иначе и начну рассуждать о спасительном гностицизме, когда головой вдруг снимаются противоречия и жить становится легко.

Думаю я немного, потому что служба мешает. Меня отвлекают,

пристают с поручениями. И то славно: не разовьётся гиподинамия от сиденья на стуле день-денской. Сам иногда прошу поручений: нет ли чего исполнить?

Природа сделала меня таким: эйфорическим. Доктора говорят, что это от гормонов. Таков мой организм! Надо всё переносить: и эту службу, и этих людей — в прекраснодушном настроении. Конечно, бывают срывы! Я ведь по природе не герой, а наблюдатель... Художник более чем человек в пейзаже... Или дерево, или стог, или какая-нибудь девушка, поливающая цветок на службе... Меня всё волнует: и цвет травы на службе, и блеск воды, и плач майора, и красота нового начальника!

Меня вдохновляет это на творчество. Я не могу усидеть на стуле, порываюсь встать... Верчусь на месте. Хлопаю в ладоши. Пристаю ко всем.

Майор наряжается потехи ради в Распутина. Почему он избрал персонаж этого удивительного "старца", до конца не ясно. Можно предположить, что это проявление майорской любви ко всему мистическому, русскому, сибирскому... Дня не проходит, чтобы майор не вспомнил о своём сибирском прошлом: обучение в танковом училище. Романтика: мороз и солнце! И всё остальное в таком духе: восторженное... Достает из кителя портмоне, толстыми пальцами вынимает фотографию: круглое лицо юноши-курсанта. В Сибири я, двадцать лет назад!

Девушки-делопроизводители и я не можем оторваться от майорского — в прошлом, в Сибири — лица! Перебивая друг друга говорим комплименты. Майор наш как девушка краснеет. Ему приятно. Говорят, что дела одной из наших девушек-делопроизводительниц плохи...

Что ж, пребывание в этом служебном кабинете не должно пройти бесследно. Когда я записываю в тетрадь эти строки, другая, оставшаяся здоровой девушка не сводит с меня глаз. После того как её напугал майор, выскочивший из-за шкафа, она начинает тихонько посмеиваться. Капитан смеётся всегда — громко, по-гусарски — в этом нет ничего удивительного, он — жуир, бонвиван!

Веселие — нездоровое, слишком уж яркое, как те тропические цветы на картинах Руссо — оно приходит неизбежно после гнетущей мрачной атмосферы, когда все подавлены, смотрят тупо в бумаги, или в пол: бессмысленно стучат машинки, скрипят дверцы кабинет-

ных шкафов, лязгает ключ открывающий майорский сейф, раздаются глухие шаги офицеров и вольнонаёмных... Вот он шумовой фон служб: начнёшь прислушиваться — потеряешь здоровье!

Отсида: неизбежность веселья. Кривлянья, громкого смеха, беготни друг за другом по кабинету. Навеселимся бывает до упаду, как пьяные потом сидим за столами и на крутящихся как у пианистов стульчиках: размякшие, пустые...

Войдёт подполковник, чтобы что-то сказать. Так, ерунду какую-нибудь... Кто-то обязательно не удержится и прыснет со смеха. Скорее всего, это случается со мной. Капитан с майором хранят внешне невозмутимые лица: в сердце веселятся злорадно, шас мол его... А девушки-делопроизводители тоже расхохочутся. Одну за шкафом не видно, только раздаётся всхлипывание, попытки подавить смех. Другая за машинкой кривит лицо: и хочет серьёзной удержаться, а не может.

Начальник только скажет: веселитесь тут, ну-ну.

Новый подполковник очень осторожен: в походке, речи. Думает, что будут говорить о нём. Я считаю, что это благоразумно с его стороны. Неправильно сказанное слово, неудачное выражение могут свести на нет его неустоявшийся авторитет. Он правильно полагает, что может оказаться посмешищем всей служб. Он видит уже как его передразнивают в нашем кабинете, как изображают походку, повторяют любимые фразы...

В той тщательности, которую он придаёт своим манерам, я кроме всего вижу ещё и уважение к нам, своим подчинённым. Он должен служить примером другим начальникам: закрываясь в своём кабинете, он достаёт из стола орфографически. словарь, ставит на стол зеркало, раскладывает предметы ухода за лицом... На службе как в пустыне. Вынужденное состояние.

Длинные дни сиденья в кабинете похожи на описание пустынь. Даже самые восторженные, как допустим у Экзюпери: с цветущими колючечками, лисичками, тишиной...

Тот, кто подумает, что я склонен описывать пустыню-службу односторонне в одних лишь серо-жёлтых тонах, ошибается. И мне пришлось испытать немало поэтических и восторженных минут в кабинете-пустыне. Военные чиновники или офицеры похожи на жителей пустыни: скорпионов, тарантулов, ящериц, верблюдов... Они такого же цвета как пустыня, такие же терпеливые и непряхотливые

как она. Нет в пустынных днях службы городского шума, или музыки так привычной для жителей городских трущоб и хороших кварталов? Да, но зато есть тишина...

И есть лазарет, куда я попадал как в оазис после бесконечных переходов по жарким пескам под палящим солнцем. О прохладе лазарета... Забота нянечек, медсестёр. Сладость утренних часов, ведь не надо вставать, повинаясь крику безумного дневального.

Три дня освобожденья вот радость в пустыне службы!

Как приятно лежать у себя в доме-бочке или башне или в аборигенском вигваме, чуме, яранге, кáзе и прочая. Не скучно совсем, если не поддаваться козням злых духов, которых посылает из своей тьмы Князь мира. Отвергнув бессмысленную суету, в которой пропадают лучшие дни, не слыша флейты и барабана, слушаешь тишину дома.

Вот парадокс: оказывается тишина служебной пустыни мира обманчива, если прислушаться то она состоит из бормотанья офицеров и вольнонаёмных, рядовых чинов, непонятных и нечленораздельных звуков, шорохов, криков...

Я думаю об этом, сидя в садике недалеко от семинарии, поджидая профессора, с которым мы условились встретиться.

Профессор по своему спасительно ограниченный человек, подобных ему людей много на службе, где тоже нужна спасительная ограниченность. Это позволяет жить легко, хотя и не счастливо м.быть. Сохранять видимость достоинства и чести, инфантилизм или детскость (не путать с тем, что называют "детством" или говорят "он как ребёнок"). Инфантилизм взрослых людей это спасительный идиотизм, которому подвержены очень многие. Желание играть во что-либо: в войну, в науку, любить лечить людей, петь, писать, танцевать...

Майор наш похож на Распутина, если верить описаниям французского посла Мориса Палеолога: он ходит мягко ступая в своих начищенных до блеска сапогах, он оказывает несомненное чарующее действие на наших девушек-делопроизводителей. Когда он рассказывает свои истории, они не могут оторвать от его пухлого лица мутных взоров. Бедные девушки, они настолько истомлены страстью, что кажутся, нет, наверное, в самом деле: больны. Одна часто отпрашивается, сказавшись нездоровой. Своим голосом: томным, страстным он способен довести их до нимфомании.

Кажется, что на нём расписная рубаха, подпоясанная кушаком, который мог быть вышит любовно руками наших девушек. Они готовят чай, самовар на столе уже закипел, достают из своих сумок всякие угощения: крендельки, пирожки...

Майор встал из-за стола, улыбаясь как кот, стал похаживать по кабинету...

Когда же кончатся его истории про дочку (нашли наконец ей жениха-курсанта), про бурундючка, про службу!

Девушки-делопроизводители слушают, раскрыв рты.

Я думаю, что если меня ещё не изгоняют со службы, то это божественное провидение и надо плыть по течению: куда вынесет! Т.е. служба похожа ещё и на мутный поток, на Миссури или Жёлтую реку. Несёт меня как Гекельберги Финна или кого-нибудь ещё на плоту. Мимо берегов жизни, где рождаются и стареют люди разнообразных состояний и достоинств.

Мне как герою какой-то книжки непонятно как умудряются жить люди "там", за пределами службы. Мне понятен пафос прапорщика из водевиля, который утверждает, что "они и ходить то как следует не умеют"!

Пока я предаюсь моим мечтам под сенью служб, юноша рассказывает Алёне о своих бывших любовниках. О студенте театрального института, о японце, молодом красивом арабе, об американском морском пехотинце из охраны консульства...

(Юноша знает, что все истории любви станут известны мне, кто знает: нет ли в этом умысла?)

В привокзальном буфете, где мы встречаемся с Алиной, я узнал от неё такую новость:

Лизин туалет собираются весной закрыть. Да: совсем закрыть как туалет и переделать его под кооперативное кафе для литераторов. Хорошая идея: такое маленькое уютное кафе. Как в Таллине или на Арбате. У Литераторских мостков, название готово! Об этом рассказал художник-оформитель, которому поручили заняться интерьером.

А что же будет с юношей? Куда он теперь? А Лиза? Та поживёт у старообрядцев в часовне, в Рыбацком. Или поедет к своей подруге в архангельскую деревню. Они же собирались в какой-то северный монастырь податься? А юношу может быть с собой возьмут. А может быть поедут все сторожить музейчик Хлебникова при погос-

те в Новгородской деревне. Поживём-увидим, говорят.

Эти известия меня, признаюсь, поразили. Рушится на глазах гавань для усталых и счастливых людей. Как весело было в последнее время, когда профессор приводил с собой кроме студента, мужа балерины и семинариста симпатичного мальчика из военно-медицинской академии. Алёна, которую совсем не соблазняют юноши и та заглядывалась на него. Даже ходила вместе с ним в анатомический музей при академии, спускалась в подвал морга, рассматривала препараты... А старушка, бывшая банщица из Щербакова переулочка? Она лишится такого общества, где раскрыли её талант, где она чувствовала себя нужной: помогая Лизе в уборке, ведя пусть и не очень обременительное хозяйство. Все так привязались друг к другу. Ведь в городе нет салонов, где собирается приятное общество. А если и есть подобия, то наверняка там люди случайные, неинтересные друг другу, похожие как инкубаторские цыплята или военные.

Я думал, что у мужа балерины и профессора наверняка есть дома, куда их приглашают... Но там всё не то, чего то не хватает! Не зря мужбалеринская жена уехала в Париж, "на стажировку", к Бежару или Нуриеву. Какая разница: пусть Бежар и переехал из Брюсселя в Женеву, там всё рядом. А сказать нам: в Париж, к Бежару! — это класс.

Ни профессор, ни муж балерины не знают ещё об этой новости. Правда, до весны ещё несколько месяцев...

Всем весело, потому что начальник ещё не скоро вернётся из отпуска!

Эти офицеры кабинета которых я вижу каждый день раздражают меня как раздражают строки и слепни мальчика, пасущего скотину в жаркий день...

Другие дети побежали к реке!

Здесь же в военном кабинете непонятная погода, непонятная от того что нет определённого времени года, нет времени, кажется. Не странно ли?

Тропический лес, полный опасности и красоты, где жара сводит с ума, где приходится вдыхать аромат ядовитых цветов... Откуда трудно убежать!

Читаю воспоминания Гогена.

Служба кажется тропическим лесом, сам я себе кажусь то

французом-художником то аборигеном с шоколадным телом. Чтобы отдохнуть от книги принялся сочинять письмо Базилю:

Милый друг!

Моя хандра растаяла с последним снегом... Вновь я бодр и весел: такой, каким ты оставил меня прошлым летом. Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь? Живу... Других занятий не появилось!

Впрочем, ты сам знаешь, что единственным серьёзным занятием... (письмо прерывается - зашёл офицер, толстый капитан и начал отвлекать).

Капитан остался за старшего в кабинете. На столе стоит кулёк с конфетами... Да: кулёк с конфетами, зелёные горошинки! Он угощает всех: угощайтесь! (делает жест рукой)

У капитана багровое лицо, огромные кулаки. Его легко представить в чёрном трико на арене шапито, играющим легко огромными гириями. Он сидит за маленьким столом, потя перебирает бумаги, что-то записывает на листке. Составляет финансовый отчёт: билеты подклеивает на отдельный лист, записывает копеечные суммы. Бравый капитан! (не путать ради Бога с другим капитаном, моим коллегой).

Я ухожу из кабинета-тропического леса.

На стадионе вижу лошадей. Они бегают вокруг стадиона как будто это цирковые лошади, а не спортивные.

Я еду в декабрьском трамвае. Со службы еду к Литераторским мосткам.

В небе розовом и синем - зимнем - солнце сияет блестящим жёлтым кружочком.

Во мне громоздится собор воспоминаний - это прошлое подобно лентуловской картине во мне выстроилось праздничным собором. Сбылось реченное поэтом: нет настоящего, жалкого нет.

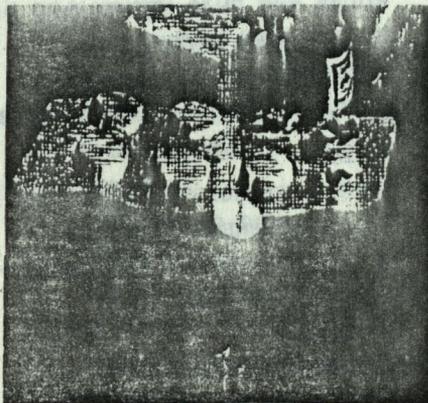
Я - настоящий - жалкий, переводчик-офицер Фехтовально-гимнастической школы поглощён огромным пространством собора: моим прошлым. Линии, придающие форму событиям и людям кривятся, ломаются, создают причудливую композицию.

Что делать с такой памятью? И всё же красивый собор торжествует над моим настоящим: само его создание разве уже не чудо?

Пока догадаются, что меня не существует на службе, что я создан ими как поручик Киче по русской традиции, пройдёт немало времени. И даже тогда, т.е. в момент истины: когда инфантильный майор

ничего в мире не любящий больше службы, крикнет мальчиком: а ведь его нет! никто не посмеет доложить об этом "по команде". Скорее всего, походатайствуют о моём переводе в какое-нибудь другое военно-воспитательное заведение, куда меня запишут в штат. Это может быть, например, бывшая Медико-хирургическая академия, основанная ещё при Павле. Как говорят французы: пуркуа па?

А пока, я еду в трамвае, а служба моя валяется где-то у подножия храма искусства, памяти, высшейся собором а. ла Лентулов, жалким реквизитом, бутафорским барахлом, среди которого валяются марионетки из дерева и папье-маше, похожие на военных чиновников, вольнонаёмных и других персонажей, занятых в пьесе.



Признание

Я люблю тебя такой,
какая ты есть —
с молибденовым блеском
выцветших глаз
и целебным выражением лица,
как у богов и героев
на картинах имени Ильи Глазунова.

Люблю тебя
за бесцельно прожитые годы
под твоей развесистой кляквой,
когда мне было мучительно больно,
но всё же приятно
сознавать себя
одним из твоих сыновей-обормотов.

Люблю
твоих патологических гениев:
и доморощенных Платонов,
и спринтеров ума Невтонов, —
которых ты рожала,
рожаешь
и будешь рожать,
пока в подлунном мире
не погаснет последняя
шестиконечная звезда.

Люблю
и клинически здоровых
бесчисленных почитателей твоих
(Господи! прости им,
ибо творят, не ведая,
а ведая — не творят).

Составление: "Сумерки".

Благодарю
за эту ненависть к тебе,
которую ты мне внушила,
дабы я мог полюбить тебя -
такой вот странною любовью...
Вот уже 30 лет
всё люблю и люблю
и не могу остановиться.

* * *

ушная раковина так
вителивата
горит душа твоя бардак
грядёт расплата
подходит время как часы
к началу боя
бом-бом!
летают две осы:
Зи-Зи и Зоя
они из самых злачных мест
из тьмы и вони
неси ты сам себя как крест -
сказали кони
бывает так бывает сяк
бывает эдак
сидел тут Брик а после Брак
седой как предок
Осман сиреневый стоит
и тихо плачет
и кто за этим всем стоит
что ЭТО значит?

* * *

шиповника яблоки красные —
омерзительное зрелище:
перекатываются шершаво
как шавки-шаркунь —
куничьи дети:
дед-и-джавдет
проходящий неслышно как;
кактус
округло цветущий;
Пущин
безжалостно что-то жующий;
ищейка
переосмысленная в лучших традициях
марксистско-ленинского игла;
книга
написанная до сотворения мира;
Ира
маленькая как мышь;
Иртыш;
сонный Худой на припае;
сипам
расстрелянные некрасиво и грустно;
дуста
след на спине таракана
мерцающий .

Внутритворение реальности

... и так захотелось повеситься вниз головой
качаться касаясь губами травы луговой
чтоб из глазниц вместо слёз покатались глаза
по волчьей тропе где ногой не ступала коза
где бледной берёзы слона не касалась рука
где гиппопотам доставал животом облака
где небо лениво лежало себя обхватив
где песни последних жуков догорает мотив
где маленький Ёжик сидит и взирает на ны
звучащие смыслы и взгляды повсюду видны
а мы вечереем сердца наши влагой полны
в себя виновато глядим и не слышим страны
странны эти липы и клёны и эта тропа
и если ты Че - не зелёный - считай что пропал
пропах пустотой проспиртован "над полем во ржи"
свободы Матрос Железняк уличённый во лжи
лежи и вздыхай на тебя наступают века
вода прибывает вода - уплывает река
строкою ведомый веди меня Рильке-Рабле
по песне козлиной
по тропке
по следу в золе

* * *

Доживать, ни о чём не жалея,
даже если итогов (прости!)
кот наплакал. В дождливой аллее
лесопарка (две трети пути
миновало) спрягаешь глаголы
в идеальном прошедшем. Давно
в голове неуютно и голо,
о душе и подумать смешно.
Дым отечества, чёрен и сладок,
опьяняет московскую тьму.
Роца претерпевает упадок.
Вот и я покоряюсь ему.

Хорошо бы к такому началу
приписать благодушный конец,
например, о любви небывалой,
наслаждении верных сердец.
Или, скажем, о вечности. Я ли
не строчил скороспелых поэм
с неременной моралью в финале,
каруселью лирических тем!
Но увь, романтический дар мой
слишком выскомерен. Ценю
только вчуже подход лапидарный
к дешевизне земного меню.

Любомудры, глядящие кисло,
засыхает трава-лебеда.
Не просите у осени смысла -
пожалейте её, господа.
Очевидно, другого подарка
сиротливая ищет душа,
по изгибам дурацкого парка
сердцевидной листвою шурша,
очевидно, и даже несложно,
но бормочет в ответ: "не отдам"
арендатор её ненадёжный,
непричастный небесным трудам.

Составление: "Сумерки".

* * *

Дворами проходит, старьё, восклицает, берём.
Мещанская речь расстилается мшистым ковром
по серой брусчатке, глухим палисадникам, где
настурция, ирис и тяжесть шмелей в резеде.

Подвальная бедность, наследие выпренных лет...
Я сам мещанин — повторяю за Пушкиным вслед
и мучаю память, никак воскресить не могу
ковёр с лебедями и замок на том берегу.

Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнёмся не глядя, я тоже к потерям привык,
недаром всю юность брезгливо за нами следил
угрюмый товарищ, в железных очках господин.

Стеклянное время, лиловый аптечный флакон
роняя на камни, медяк на ладони держа —
ещё отыщу тебя, чтобы прийти на поклон —
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа...

* * *

Всадник въезжает в город после захода солнца.
Весело и тревожно лошадь его несётся.
Всадник звенит булатом, словно кого-то ищет.
Не надрывайся, милый, не обессудь, дружище.

Город лежит в руинах, выцветший звёздный полот
молча над ним сдвигает бережный археолог.
Стены его и рамы — только пустые тени,
дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,
стало могильной глиной, свалкою онемелой.
В городе визг шакала, свист неуёмной птицы.
Весть твоя опоздала. Некому ей дивиться.

Тень переходит в сумрак, перетекает в пламя.
Всадник, гонец бесшумный, тихо кружит над нами.
В пыльную даль летящий, сдавшийся, безъязыкий,
с серой улыбкой, спящей на просветлевшем лице.

Любому веку нужен свой язык.
 Здесь Белый бы поставил рифму "зык".
 Старик любил мистические бури,
 таинственное золото в лазури,
 поэт и полубог, не то что мы,
 изгнанник символического рая,
 он различал с веранды, умирая,
 ржавеющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
 Гони мерзавца в дверь — вернётся через
 окошко. И провидческую ересь
 в неистовой печали забубнит,
 на скрипочке оплачет времена
 античные, чтоб публика не знала
 его в лицо — и молча рухнет на
 перроне Царскосельского вокзала.

Ещё одна: курила и врала,
 и шапочки вязала на продажу,
 морская дочь, изменница, вдова,
 всю пряжу извела, чернее сажи
 была лицом. Любившая, как сто
 сестёр и жён, верёвкой бесплатной
 обвязывает горло — и никто
 не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чём тут век!
 Он не длиннее жизни, а короче.
 Любому дню потребен нежный снег,
 когда январь. Луна в начале ночи,
 когда сентябрь. И оттепель, и сырость
 в начале марта, чтоб под утро снилась
 строка на неизвестном языке.

I.

Попадали камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мёртвых строк —
перевод с кайсацкого на фарси —

фронтоник, сверчок, на своём шестке,
золотом покийи, что было сил,—
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал —
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым её местам,
а теперь молчу, перечеть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночёвке ты так озяб,
уязвлённый, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорблённым временем польхал.

2.

Поезда разминутся ночные,
замычит попрошайка немой —
пролети по беспутной России —
за сто лет не вернёшься домой.

От военных, свинцовых гостинцев
разрыдаешься, зубы сожмёшь, —
знать, Державину из разночинцев
не натялить казённых галош...

Что гремит в золотой табакерке?
Музыкальный посёлок, дружок.
Кто нам жизнь (и за что?) исковеркал,
неурочную душу поджёт?

Спи без снов, незадачливый гений,
с опозданием спи, навсегда.
Над макетом библейских владений
равнодушная всходит звезда.

Книги собраны. Пусто в прихожей.
Только зеркало. Только одна
участь. Только морозом по коже —
по любви. И на все времена.

В долинном городе — пять церквей,
нестроен воскресный звон.
Вокзал дощатый давно в музей
истории превращён.
Здесь нет бездельников, нищих нет
и мало кто смотрит вслед
несущей в гору велосипед
красавице средних лет.

За длинным списком былых удач
и глупостей, за горой
далёк и тих паровозный плач,
хрипящий, глухой, сырой...
И только рыбы сплывают, легки,
в потоках прозрачной тьмы,
и друг за другом бегут холмы
по кругу, вперегонки.

Не убивайся — когда оглох
Бетховен, забыл ли он,
что после эха следует вдох
и после молчанья стон?
Дождись рассвета, проси дождя,
стальным колесом стучи,
опровергая и бередя
усвоенное в ночи.

Лавируя, выгибая хвост,
форель говорливых вод
немой свидетельницей плывёт
среди охлаждённых звёзд.
И расстилается низкий вой
гудка над речной травой,
и заглушает его раскат
невидимый водопад...

За головокружительную далью,
где отдыхает житель неземной,

не ведая терпенья и страдания,
которые таскаются за мной -

там хорошо, там в чаще бродит леший,
подругу зазывая калачом,

но человек, смешон и безутешен,
печалится - Бог ведает о чём.

Он раньше жил любовнее и проще,
прислушиваясь к дождику над рощей,

он выбирал меж ветром и огнём -
забудь о нём. Обнимемся, вздохнём -

и отвернёмся. Знаешь эти окна
в вечернем небе - шепот сквознячка

иных миров, алмазные волокна,
холодный свет у самого зрачка?

Всё это блажь, побочная работа
русалочьей болезни лучевой,

рисующей створчивые ноты
на влажной оболочке роговой...

* * *

Вот я книгу чужую листаю,
растравляю себя задарма.
Надо мной тишина золотая,
подо мной непробудная тьма.

Изнывая в краях неисправных,
как играл тетивой тугой
мой соратник, умевший на равных
разговаривать с той и с другой!

Усмехаюсь, опять огрызаюсь,
будто лет полтораста знаком
с каждой строчкой — и смешана зависть
с обожанием и холодком.

Воскресает, колотится, стынет,
лёд на свежую рану кладёт,
не проси — ни за что не покинет,
никогда, никуда не уйдёт.

И пока в заострённом глаголе
пузырится мутнеющий яд, —
под ногами, за пазухой, в горле
говорящие звёзды горят.

* * *

И темна, и горька на губах тишина,
надоел её гул неродной —
сколько лет к моему изголовью она
набегала стеклянной волной.

Оттого и обрыдло копаться в словах,
что словарь мой до дна перерыл,
что морозная ягода в тесных ветвах
суховатую тайной горит.

Знать, пора научиться в такие часы
сырый воздух дыханием греть,
напевать, наливать, усмехаться в усы,
в запыленные окна смотреть.

Вот и дрозд улетает — что с птицы возмёшь.
Видишь, жизнь оказалась длинней
и куда неожиданней смерти. Ну что ж,
начинай, не тревожься о ней.

* * *

Куда плывёт громоздким кораблём
летучий град в бессоннице осенней?
То в дерево, то в озеро влюблён,
небритый мой зеркальный собеседник
по-рыбьи раскрывает чёрный рот —
а я молчу и глаз не поднимаю.
Так беззаботно радио поёт.
А у него мелодия немая
на языке и в горле белена —
корабль плывёт, сирены молодые
сидят на мачтах, жизнь ещё влажна,
ещё легка, ещё она — впервые...

Не за горами ранняя зима.
Рассеется туман, стухнет иней.
Один умрёт, другой сойдёт с ума,
как мотылёк в бесхозной паутине.
И человек вздыхает, замерев.
Давно ему грозит зима другая,
все дни его и годы нараспев
на музыку свою перелагая.
А из краёв, где жаркий водород
шлёт луч на землю в реках и могилах,
глядит Господь — жалеет, слёзы льёт,
одна беда — помочь ему не в силах.

Борис Вахтин

ДНЕВНИК БЕЗ ИМЕН И ЧИСЕЛ

Предисловие

Я пытался вести дневник с именами и датами, но получался пристрастный протокол.

Чтобы была правда, надо выбросить лишнее.

Имена и числа — лишние. К тому же они слишком хорошо запоминаются.

Например — это было в пятницу, или первого апреля, или накануне дня рождения.

А то, что мелькает, запоминается плохо.

И это стоит записывать.

Этот дневник един композиционно — как прошедшее время; в нём всё можно переставить — как в прошедшем времени.

Прошедшем.

Фрагменты книги. Составление: "Сумерки".

Ой, трудно...

- Трудно тебе придётся в жизни, - говорили мне, когда я был маленький и не ел кашу.

- Трудно тебе придётся в жизни, - говорили мне, когда я стал постарше и не учил уроки.

- Трудно тебе придётся, - слышу я сейчас.

Любят - не любят

Женщины любят авантюристов, любят негодяев и проходимцев.

И любят меня.

Женщины любят художников и поэтов, взъерошенных и болтающих о своём.

И любят меня.

Женщины любят путешественников, мужественных и крупных, как Амундсен.

И любят меня.

В какую странную компанию я попал!

Мелькали прутья решётки

Мелькали прутья решётки, мимо которой я шёл, а я думал о том, как умело моя рука исправляет не меня и делает обязательно по-моему и что с этим ничего не поделаешь, а если бы знать, что поделать, то это было бы именно то, что надо. Но для этого нужно ввинтить другую лампочку, то есть не лампочку, а что-то другое, но это другое не ввинтишь и не вывинтишь, потому что это не лампочка. Нужно бы схватить себя за руку, но своими руками схватить себя за свои руки - как это?

И мелькали прутья решётки быстрее, и сад был всё виднее за расплывающимися прутьями. И я бежал всё быстрее, глядя на отстукивающие дробь прутья и на сад за ними, и, кажется, что-то начинал понимать.

Преимущество социализма

Они напали на меня среди бела дня в воскресный день.

Я был один, а их было пятьдесят девять, и, пока я среди бела дня бил их пятьдесят девять, они пятьдесят девять среди бела дня били меня одного, и мне доставалось в пятьдесят девять раз умноженное на пятьдесят девять раз сильнее, чем каждому из них, потому что я был один, а их было пятьдесят девять, и все пятьдесят девять били меня одного, пока я один бил их все пятьдесят девять.

И потом я много размышлял в лечебнице обо всём и понял всё до конца и вышел законченным социалистом.

* * *

У нас в семье семь человек родителей и один сын.

Его третий отчим и четвёртая мачеха пишут бесценные произведения.

И кидают их где попало.

И мой сын ходит ногами по их бесценным произведениям.

В стороне от рифмы

Есть такое слово — приспособиться.

И рифмующееся с ним слово — спиться.

А с ними рифмуется всё на свете: и мой друг Витя, и моя женщина Нонна, и лётчик-испытатель Тютчев, и новорождённый верблюд в зоопарке.

Я стою и смотрю, как они рифмуются, и то перевожу с древне-китайского, то пью с Тютчевым, то просто сижу и ничего не делаю.

* * *

Они шумели и матерились, как штрафной батальон, ломали двери
изнутри и уходили ко всем чертям.

А я притих на Чёрной речке и ползал по листу бумаги, как
шелкопряд, откладывая яички буюковок.

Каторжник мостит тюремный двор, спина его синяя от неба.

Женщина стирает бельё, припав к реке, как конь на водопое.

Пианист тычет пальцами то в чёрное, то в белое.

Штрафной батальон ломает мою дверь изнутри.

А чем вы пишете?

Одни пишут буквами, другие быквами, третьи бяквами.

А вы, мой друг?

Когда обрили земной шар

Когда обрили земной шар и надо было всё растить сначала,
Когда вымыли небо и надо было красить его заново,
Когда потушили солнце и надо было опять разжигать огонь,
- тогда-то здорово пригодились всякие

бербь,

ууу,

фёрть

и

ща.

* * *

Не пиши ты городами, улицами и паровозами.

Не пиши мужчинами, женщинами и катаклизмами.

А пиши ты, дурак, буквами из алфавита:

а, б, в, г, д...

От Нерона до воображения — тринадцать слов

Нерону захотелось посмотреть на пожар, и он поджёт вечный город.

Он был болван, лишённый воображения.

Профиль пятна

Как вы уже понимаете, леопарда не было
и оспы тоже,
и демонстрация кончилась и все разошлись,
а крыша была дырявая и домохозяйство
не работало.

Как вы уже понимаете.

Насыщенная пятка

Столетиями насыщали голую пятку —
и насытили до краёв:

Ахиллесом и щетиной,
салом и нервом,
душой и супостатом,
топаньем и сверканьем,
щекоткой и лизаньем...

Детская считалка

Строили, перестроили, развалили.

Строили, строили.

Перестроили, перестроили.

Развалили.

Строили, строили, строили...

Рассвет

Узкая оранжевая полоса над деревьями и домами.
Как порез.

И виден край земли в этом порезе.

И хотя ещё раннее утро,
и зелень не стала зелёной,

и небо не стало ярким,

но в порезе я вижу далёкий край — край земли.

И мне грустно видеть его.

Весь свет, как он есть

Небо было бесцветным и пустым: ни облаков, ни звёзд, ни бога.
Сверху крупно капал свет, невидимый и слепящий.

Свет кололся о сосны и ёлки.

Прозрачной медузой в небе дневная луна — недвижно.

Так пусто кругом.

— Наполняй.

Какое серьёзное слово.

Серьёзное — ноль смысла.

Жизнь не коллекция, природа не музей.

Какое мне дело до деталей?

Часто путают детали и жизнь.

Зубрят. И всё отдельно.

Считают: один, два, три, четыре...

Ты до скольких досчитал?

А ты?

А кругом такая бесцветность неба, и свет, и сосны.

Ресницы.

Море — глаз без зрачка. Как у скульптуры.

Ничего в нём не отражается — нечему.

Только свет и свет.

Весь свет, как он есть.

Море начиналось у ресниц и кончалось на горизонте.
 Поэт сказал бы: кончалось там, где из него пьёт небо.
 А я скажу: это очень глубокая яма — родина.

Так и будет

Когда под смех и крики римлян лупили друг друга варвары на арене, то это было зрелище и для патрициев, и для плебса, а гладиаторы были потеха и только, варвары, никакая не трагедия. Цивилизация смеялась свысока, укрепляя себя в своих глазах. Но время пришло, и рухнули их глаза, пропал Рим — где он сейчас? Куда он делся, патриции и плебеи?

Цивилизация смеётся над Россией, когда мы, как дикари, пожираем друг друга больше пятидесяти лет кряду. Вы ухмыляетесь по поводу несуразности этого племени, копошащегося над постройкой вавилонской башни, а пока вырванного яму — под фундамент, под фундамент. Вам смешно, и вы растёте в своих глазах, потому что нет у вас Сибири. Для вас цирк, а для нас всерьёз.

Только зря вы смеётесь, зря и с божеской колокольни, и просто по здравому смыслу, с точки зрения шкуры своей, тонкой шкуры, п.сти нейлоновой ; ей-богу, зря.

Есть у Киплинга стихотворение "Дворец". Строил я дворец; разрыли поверхность — а там фундамент, кладка была неумелой, не стоил план ничего, но на каждом камне я читал: "Вслед за мною идёт Строитель. Скажите ему — я знал".

И вот я строил, строил, а потом

Я отозвал рабочих от кранов, от верфей, из ям.

И всё, что я сделал, бросил на веру неверным годам.

Но надпись носили камни, и дерево, и металл:

"Вслед за мною идёт Строитель. Скажите ему — я знал".

Это о литературе. Для меня, конечно. И не в том вовсе смысле, что вслед за Гоголем пришёл Достоевский, за Достоевским Соколов-Микитов и так далее. Для меня Строитель — это время. Именно оно достраивает или разрушает в порошок. Ну подумайте, какой тут особенный смысл, в этой, например, фразе: "В начале бе Слово". Ну бе, и ладно. А что сделало Время, строитель мой славный, из этого бе!

Отдайся Времени; оно тебя достроит, если ты не будешь его обманывать и сам не будешь знать, как и что надо достроить.

Ах, представьте

Ах, представьте — я взял посох, надел тулуп и с сумкой за плечами пошёл по дальней дороге, да, вот пошёл по улице Кировской, по Литейному, по Невскому, по Лиговке, по Московскому проспекту в тулупе и с посохом. Мимо хмурых домов петербургских, мимо тонких стенок новостроек с жёлтыми окнами, с жёлтым мёдом внутри, через край, через окна наружу, даже стены вспухли от мёда. А я мимо, к высотам под Пулковку, Пулковку сверху, высоты под ним, телескопы, как храм, а храм уже был на моём пути божий, и не один. А я дальше, дальше, мимо Гатчины, Новгорода, Смоленска. Нет, вы только представьте — взял и пошёл. И когда я уйду далеко-далеко, я только тогда оглянусь.

Памяти Бориса Вахтина

Непонятной национальности была у собаки морда. Что она делает тут? Хоронит. Скульптурные слёзы льёт. Чем не человек хвостатый?! Совсем не житейской преданности пример. Нечеловеческой верности подвиг. Друг четвероногий, ты растрогал меня. Глаза умнейшие, и что тебе в рост не подняться? А, понимаю, — интеллект должен прочно стоять на ногах. Две ноги — маловато. Четыре — лучше. Как тебя зовут, феномен? А, догадываюсь, — ты инкогнито. Семейная тайна. А может, ты чья-то жена? Но всё равно — держи себя в лапах...

Сегодня крематорий не работает, но это не значит, что мы бессмертны. Наибольшая наша половина всё же тянет вниз и уже занимает очередь к печке. И лишь какая-то часть нашей сути в небо глядит, голубоглазая, будто там ей отчизна. Нет, Вася, мы не бессмертны. Немудрено — мы съели пуд соли, присыпав её тонну холестерина и растворив всё это в цистерне водки, выпитой нами без всякой закуски, ибо после первой не закусывают, после второй — начинают, а после третьей — она уже кончилась.

О, рабочие ягодицы услужливых официанток — миллиарды наших пьянок, скатерть, белая даже в чёрный день, и назавтра почерк дрожащий, не желающий для денег писать, бязоз гениально пишут всегда бесплатно. Что граф, что дворник — что Лев, что Андрей. Первый, правда, был помещик Толстой. Но и второй — Платонов — писал не для денег — с голоду умирал. Нет, презренный металл не мешался в их голос. Шелест бумажных купюр — шедевры.

Громовый, и куда же ты сник? И это почему ж я тебя не слышу, тем более в гробовой тишине. В очереди, почему-то молчащей. Ты всегда перекрикивал очередь, Вася. Живую, но не эту живую очередь мертвецов, засекреченных, как почтовые ящики, сплошь увитые, украшенные и просто дощатые — и без муаровых лент и плюмажей понятно, кому и что послано. Многоликие, а все на одно лицо. Очень скуластое без локтей. Вдруг присмирившее, наконец-то, воспитанное лучше позже, чем никогда. Гладкое, круглое — никаких угловатых движений с обязательной нетерпимостью русской, на фоне которой Запад вообще Дом Терпимости. До чего же ты выдержанным стал, Вася. Ты ли это?

Нет, не ты. Ты давно сторел. Давно обуглился, как танкист в запылавшем танке. И тебе не нужно ждать своей очереди, чтобы снова гореть. Я всегда понимал тебя с полуслова...

И мы из общего хора выбегаем солистом. Нам всем небом хочется плакать, потому что смеяться в данном случае грех. О, короткая жизни частушка. И ничего-то ты длинного не написал. Фундаментального, полагая, что сам фундамент. Бить тебе, Вася, в земле - в крематории сегодня бастуют. Обязательно что-нибудь вырастет на тебе. А пока - ты прав - нам самое время на воздух. И в жизни и в смерти нам эта т а к ж е с т ь невозможна - сачнесс, как говорят здесь средние американцы, очень средние, я среди них живу.

И мы начинаем не с похорон, а с поминок. Вечный огонь, в данном случае, он не из мрамора светит. Не слишком торжественный, он в нас горит.

- В "Пузень"! - приказывает Вася, потусторонний уже.

- В "Ле пети бедон"? - уточняю я - ещё живая легенда, - в знаменитое наше "Бришк", что в 16-м районе несравненного и всегда Парижа, на улице Перголезе, возле Булонского леса, где закуски - с ума сойти - экстазы, ступеньки, подступы к главным блюдам. Где даже французов здешнее пиршество в состоянии удивить, хотя что ещё может удивить французов, считающих, что именно они изобрели еду (книгу и женщину они на послеобеденный перерыв отложили). Где устрицы огромны и глубоки, а не плоские, что встретишь у всякого моря...

- И, конечно, знаменитый гусиный паштет, - и Вася слюну глотает, - и что-то говорит про крестьян, котрым, видите ли, ещё не надоело своё драгоценное время тратить на не в меру разборчивых деревенских гусей, три раза насильственно их кукурузными зёрнами пичкать, как минимум в течение трёх недель, чтобы печень их увеличилась - и вот он паштет непревзойдённый...

- Превзойдённый, - немедленно возражаю ему, - есть "Фуа гра" - печень утки, раздражённая орехами и шоколадом. Холодная и горячая в соусе из Арманьяка с виноградными ягодами к ней. К холодной ещё дадут горячие тосты.

- А тельца эскарго, то бишь виноградных улиток, в слоёном тесте всё ещё там подают?

- И лягушачьи лапки, где много помидоров и чеснока, не

говоря уже о копчёном луарском лососе и земной амброзии - чёрном трюфеле, вырытом в Перигорском лесу специально обученной хрюшкой - она профессор его откопать. Ты что же, Вася, давно там не был? Ты так говоришь, будто не был вообще... Всё же изредка, а мы на Париж налетаем, рискуя жизнью в "ДС-Тен", ибо всё, что дёшево, то рискованно. Но какой же кайф живым приземлиться в Париж, начиная его непременно с Площади Инвалидов, ошеломляющей после заокеанских трудностей. Именно туда нас привозит из аэропорта автобус. Мост через Сену - и вот он начался рай.

- ...Из блюд мы возьмём медальон из мяса косули. С брусничной, пюре из картофеля и каштанов, с мелкими овощами.

- А как насчёт жареного мяса с белыми грибами? - видно, аппетит его ещё жив (человек, человек, а аппетит всё же зверский).

- В соусе из "Фуа гра" со свежей, слегка тушённой израильской капустой, которая не образует плотного кочана, а растёт почти как букет. И ещё, конечно, сладкое мясо - шитовидную железу телёнка со сморчками. А может, утку, сваренную в собственной крови?...

- Нет, лучше петуха, сваренного в чужом вине, - отвечает Вася, - с ломтиками бесподобной их ветчины. А ещё лучше цыплята, выращенные на фермах Брессе и "Тру Норман" - норманскую дыру, чтобы продолжить...

Ай да Вася, он знает толк - это кальвадос 1966 года - магма, ну до чего же живительная!

... - Ну, и конечно, сыры, которые не имеют равных в мире - "Роблешон" и ещё обязательно козий, к нему же "Рокфор" и редкий даже в Париже "Вашран", который черпают ложкой, как густую сметану. Зацепишь его серебряной, и ещё неизвестно, кто кого зацепил...

- Ну, а пить - с аперитива начнём и шампанского, и не с какого-нибудь "Клико", от которого у туристов умиления слёзы.

- Дикари, это же самое здесь плохое вино!

- У французов вин плохих не бывает, - возражаю я Васе, - скажем мягче - наилучшее, идущее в Америке по цене знаменитого. Разумеется, мы настоящее с тобой возьмём, чьи пузырьки что икра. Кстати, русскую мы закажем.

- Бесспорно. Я по-чёрному ностальгирую по чёрной икре и ещё по чёрному хлебу.

- Его нам заменят знаменитые французские блинчики из чёрной муки. Далее пойдёт молодое бургундское четырёхлетнее...

- "Кот де нми виляж", - подсказывает Вася.

- Да, что-то вроде деревенского вина с ночного берега.

- Ну, а дижестив (после еды)?

- Э, под занавес мы возьмём Арманьяк 45-летней давности из лучшей провинции Арманьяк - Баз Арманьяк. Гулять, так гулять...

- Э, мы про десерт забыли - ломтики свежего манго в соусе из "Фрми де ля Пассьон"...

- "Плоды страсти", залитые соком малины, а также 5 - 6 сортов фруктового и медового мороженого своего изготовления, залитые на тарелке горячим шоколадом... Да ты сладкоежка, Вася!..

Но большая лакомка - смерть.

Париж конец ноября 1987 г.



Мир-мыловар

И сколько б ты жизнь — говорю же я! — не миловал,
И сколько б ты не пил из извечно-сухой ладони,
И пускай бы и допил, чего уж... — мир-мыловар
Уволочёт всё одно её в чёрном своём фургоне.

Видишь? — приотставшего дыма лысеющее кольцо,
Передёргивающаяся спина прихрамывающего мыловара
И она, что взглядом прощальным в твоё другое лицо
Его навеки отмеловала.

Свет очищенья, очерк иного дня
И перекрещивающиеся лучи на тёмном всё ещё теле —
Вот что останется — говорил же я! — от меня.
Всё, что останется в памяти и на прицеле.

1987

Прощание у моста

Грибным, грубошерстным мясом
Гранит чернеет с излома,
Вдыхая всей плотью свеченье
Узенького заката...

О столь здесь река поката,
О столь здесь её течение
Наклонно к небу, что с лона
Соскальзывают лучи.

И этим прощальным часом
Так розовато, так серо
В каменном вертограде,
Особенно здесь, у моста...

Лучам, тем проститься просто. —
И даже на Германдаде
Несколько их осело,
Чтоб умереть в ночи.

1989

Гость

Черноречного неба излучина,
Где ограненных волн — без числа,
Где луны полусбилаась уключина
От безвидного тренья весла;
Где миры с их сияньем и косностью
Из окошка — как рябь да струя ..;
Где по ленте с единственной плоскостью
Всё скользит — недвижима — ладья.

И такое тут слово напишется,
Что обуглится пёрышка ость:
Там, внутри, у бесснедного пиршества,
Есть не званный, но избранный гость.

Он сырой раскоряченной карлою
У стола дорогого воссел;
Ни стыдом не удержан, ни карою,
Красной утварью затремел;
Да как схапает брашно заветное!
Он слепец, попрошайка и вор.
И вино заповедное, светлое
Так и плещет из звёздных амфор!

Ну и как его, скучного, вынести?!
У хозяина — мрак по лицу...
Эк бы взять, да и вон его вывести...
... Да куда ж ему деться, слешу?

И хозяин глядит не навидится.
И молчание тягостней тьмы...
Ну когда же он, наглый, насытится
И потянет псалтирь из сумы?

Одесса

У свисших куп — ни степени, ни веса...
Лишь свёртки тополей на голове...
Куда же ты заехала, Одесса,
На зелени, на семочках, мове?..

Не чувствую ни грека, ни еврея,
Лишь полный и ряднянский человек...
(В дрожащих пальцах музыка, хирея,
Касается смежающихся век.)

Я шёл пустым путём сквозь дни пустыне
От города в зеркающих тисках...
(Рекой не двинув, сжалися России
С Москвою бессердечной на руках) —

И вижу я, как можно — как с одежей —
Чужую жизнь с чужих плечей согнать,
Как можно жить в отчизне, как в прихожей,
Как имени её не вспоминать.

1983

Ленинград

Какая-то убыль почти ежедневна —
Как будто рассеянной свет,
Как будто иссохла, изжётся пневма,
Как будто бы полог изветх;

Как будто со всякой секундой грубее
Обрюзгшая плоть у реки,
И даже коротких лучей скарабей
На ней и тусклы, и редки;

Как будто всё меньше колонн в колоннадах
Когда-то любимых домов,
И всё тяжелей переносится на дух
Кровавых заводов дымок; —

Как будто кончается сроками ссуда
И вскорости время суда;
КАК БУДТО БЫ КТО-ТО ОТХОДИТ ОТСЮДА
И НЕКТО ЗАХОДИТ СЮДА,

1990

Испытатель русских рек

Сколь ни пил я из русских рек,
Но воды я ни разу не пил:
Скользкий воздух земных прорех...
Тонко-пресный прогарный пепел...
Кроволитье железных жил,
Жил, которым и вскрыться негде...
И двоящийся звёздный жир,
Что на невской распущен нефти...

Равнодушно я брал рукой
Закоснелое семя Волги...
А в московской коре глухой
Волны ветошки были волглы...
Я своё узнавал лицо
В амальгамной бегучей персти...
Знал Реки Окружной кольцо
Как заросшее мглой отверстие. —

Океан ведь не Самбатъон,
Ну а я — не днепровска птица:
Не молением, так битъём
Он понудится расступиться.
Это скоро (хотя не спех),
Ведь взошёл я по всем теченьям,
Русских рек я коснулся всех
За единственным исключеньем. —

Да, лишь только одной из них
Мне покуда нельзя касаться,
Потому что чужой двойник
Может в зеркале оказаться,
Потому что когда-нибудь,
На истеке последней дневки,
Мне придётся ещё хлебнуть
Чёрной водки из чёрной Невки.

Хор на четыре невогечи

с т р о ф а I

По кому склизкой вицей

Дождь хлестнул дыролиный?

Кто не знал урок?

И для чьих ауспий

С мутной выси смутной птицей

Казан броский кувырок?

а н т и с т р о ф а I

Сколько костных, дрожащих

Лестниц в перистых чашах

Ночи, ткущей чад! -

Но не щёлкнет ни хрящик,

А из всех кушин горящих

Ни словечка - все молчат.

с т р о ф а II

А на склизких высотах

Мёртвый мёд в чёрных сотах

Кто по ветру льёт?

Кто, скрипя на воротах,

Птиц скликает криворотых,

Но не видит их полёт?

а н т и с т р о ф а II

Громный Голос из мрака

Разогнал волны праха

Мусорной зимы, -

И расчистилась плаха...

Но - полны тоски и страха -

Ничего не видим мы.

1990

Хор на слух и зренье

с т р о ф а

Лязг дождя и шуршанье снега,
Скрежет шероховатых градин —
Вот и всё, что пока что с неба
Услышано было за день.

А не услышано было за день:

а/Пэанический блёкот дядин;

в/Стук-пристук трамвайных гадин,

Рассевающих гроздьё сверку;

с/Урчанье воздушных впадин,

С грубным дымом прошедших сверку;

д/Церковный скрипучий складень... —

Это всё неслышимо сверху.

а н т и с т р о ф а

Плоский луч, облаками скраден,
Свёрнут в розу, на радость Гафизу, —
Это всё, что пока что за день
Услежено было снизу.

Но не услежено было снизу:

а/День разнимает земную линзу;

б/Верхняя створка с солнечной слизью

Меркнет, во гнутый мрак уводима;

в/Сдаётся таянью, сгрызу

Верхняя, смутно-кривая льдина;

г/Ангел с кожей срывает ризу... —

Это за день неуследимо.

ГЛАСНЫЕ
И СОГЛАСНЫЕ
1990

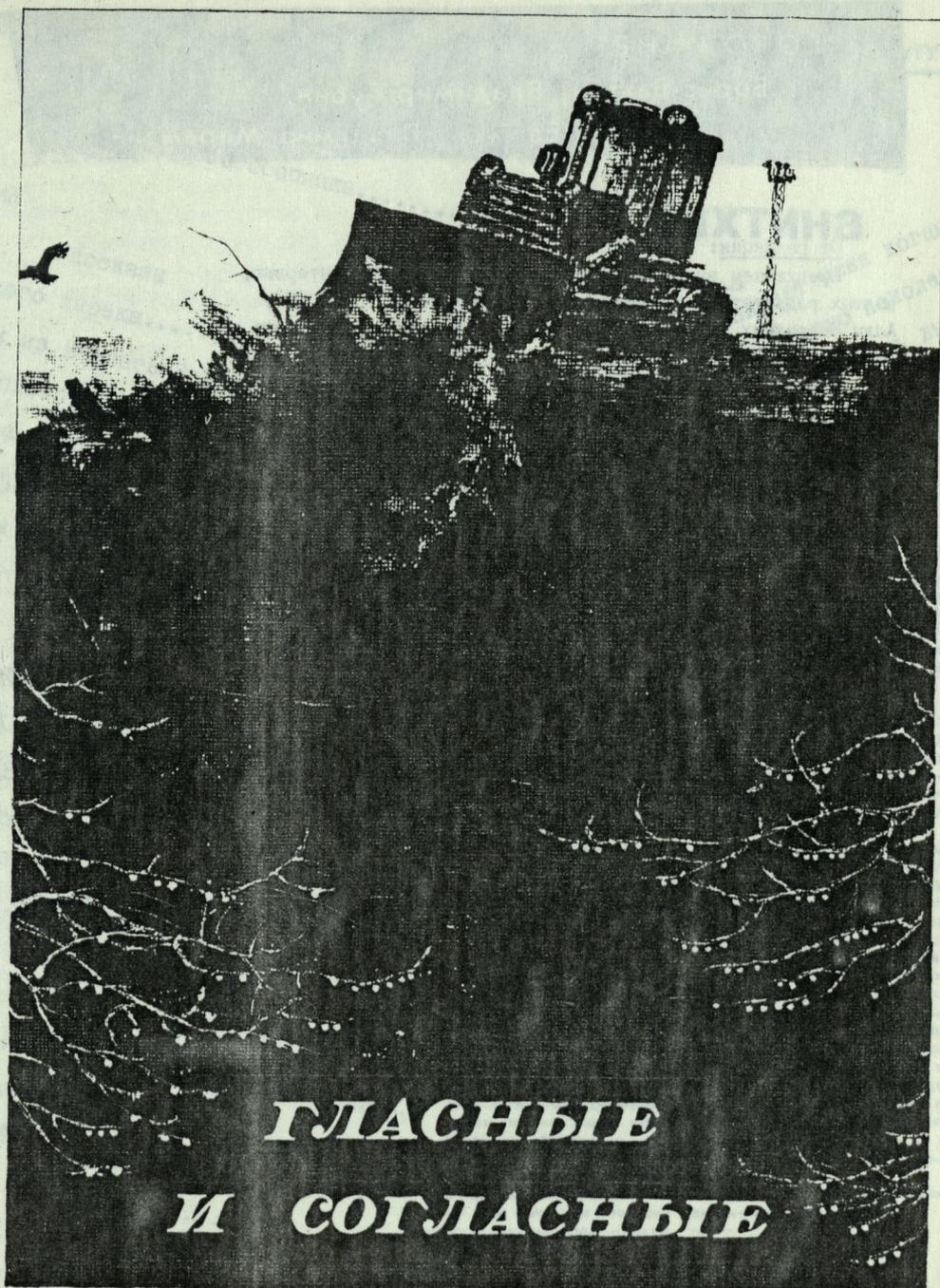
THREE TIMES THE SAME

Меркнет облик тщедушная жизни. -
Вмиг кончается, как ни начнись,
Златогрубыми в зрительной линзе
Волосками парчовых ночниц.

Чуть помыслишь в пере изготовить
Насекомого шороха рой -
Вмиг спирально вкружается овидь -
Запятой в тёмно-радужный слой.

Не успевший довоплотиться,
Треугольником ртутных лучей
Мир вонзается - мёртвая птица -
В роговые ворота очей.

1989



**ГЛАСНЫЕ
И СОГЛАСНЫЕ**

От редакции:

Предлагаем вниманию читателей фрагменты трёх интервью, взятых редактором "Сумерек" у Ирины Вахтиной /12.12.90/, Аллы Коврижных и Владимира Уфлянда /23.12.90/ и Александра Антонова /21.01.91/.

Главная тема - группа "Горожане" в литературной жизни 60-70х гг.

В ближайших номерах - произведения Владимира Губина и Игоря Ефимова.

ПАМЯТИ

В. Маразмин

Вахтина

По поводу этого сборника.....

Рассказы

У пивного ларька.....

Человек из Вышнего Волочка.....

Мо теплого дыма.....

Её личное дело.....

Или, пока страна моя родна.....

Очень жаль я темная.....

Ножницы в море.....

Наша ютнич.....

Пало.....

Анастасия.....

ТРИ ПОВЕСТИ С ТИ.....

Летчик.....

Ванька.....

Абакасо.....

Владимир Губин.....

Восемь рассказов из цикла "У нас в механическом цехе..."

Игорь Ефимов.....

Секреты жизни.....

Автоматика.....

Монтеки и Капулетти.....

Начальник Стенда.....

Владимир Маразмин.....

Рассказы

Искатели талантов.....

Бойськи.....

на крайние.....

Примера год от года.....

в 17 году ничего не случилось.....

на размах вокруг крепчает, сил убавляется.....

а писательность рвется все из стола.....

В 1964 году (хорошо помню, это было тогда в ноябре) мы собрались у Вахтиной (Б. Вахтин, В. Губин, И. Ефимов и я), бывшего тогда на Черном речном чтобы выпустить сборник, объединивший нас в литературную группу "Горожане". Эта была мысль Вахтиной. Задумою до насумевшего "Метрополитон" хотел продемонстрировать готовность молодых писателей сделать первые шаги. Вы не жалеваете выслушать наши книги — выслушайте бару на четверых. Вы недовольны самодурством — печатайте нас, хотя бы сколько угодно тиражами. Первый сборник пробили братья, у каждого вышло что-то в печать, хотя и не многим, а в алмазах — чтоб замать скандал. Второй сборник замолчать не удалось. Глади теперь (и отсюда), и думаю, что с того момента наша жизнь в Ленинграде кончилась, остальной был вопрос времени. Из четверых теперь остался в Ленинграде лишь В. Губин. Я всю жизнь буду считать себя в "Горожане".

Позднее, уже здесь, мы узнали об активном участии Вахтиной.....

Д. ДАР

- Что вас объединяет? - спрашивают нас. - Почему вы хотите вместе? Вы и не похожи совсем, и ростом разные - так зачем всё это? Может, вы хотите писать справа налево? или сверху вниз? Вот вы собрались, а остальные? Вы что, против остальных? или за? Что всё это значит, наконец, ведь так никто не делает? Нет-нет, или ответьте на все эти вопросы, или немедленно расходитесь!

Сначала нам казалось, что наш единственный ответ должен быть так всем понятен - мы любим друг друга. Неужели это неясно? Мы любим бывать вместе, любим разговаривать, нам всё интересно, что происходит с каждым из нас четверых, и что он об этом думает, и что при этом переживает, но главное - мы любим читать друг друга. Мы испытываем при этом непонятное удовольствие, здорово смазывающее по всем приметам на то "наслаждение прекрасным", которое нам с малолетства было обещано всеми учителями и экскурсоводами в музеях. Нам смешно возводить друг друга в гении или предсказывать порядковые номера наших мест в мировой литературе, и единственное оправдание, которое мы имеем пока для творчества друг друга, - свой собственный не подлежащий сомнению восторг. Но мы же, при этом, и самые страшные судьи для самих себя, те редкостные читатели, на чей упрек невозможно воскликнуть в душе - "много ты понимаешь, кретин несчастный", и на сём успокоиться. Так неужели всего этого недостаточно.

/ "Горожане" о себе /

"С." - Какова судьба этого сборника? Они представили его куда-нибудь?

Ирина Вахтина - Они его представили в издательство "Советский писатель", им вернули. Они переделывали сборник, снова носили в издательство, но безрезультатно.

"С." - Лично они были друг другу близки?

И.В. - Они были очень дружны. Володя, пожалуй, чаще всех забегал. Мы жили на Чёрной речке, потом переехали на улицу Петра Лаврова. И там, и там Володя был постоянным гостем, другом и со-литератором. Они очень дружили. Володя необыкновенно тепло и хорошо относился к Борису. Игорь немного меньше заходил к нам, хотя тоже бывал часто. Володя Губин, пожалуй, меньше всех, и как-то раньше всех и прочнее всех он исчез.

* Владимир Марамзин /здесь и далее прим. ред./

** Игорь Ефимов

Борис вообще был невероятно общительным человеком. Он всегда выискивал, откуда-то притягивал к себе огромное количество людей. Дружил с ними, и, как правило, это было очень надолго. Были, конечно, чтения. Недавно мы с сыном вспоминали, как он читал "Деревню" дома. Но я не помню людей, которые её слушали, потому что в доме было всегда много народу, очень. Моя забота была напоить всех чаем.

У меня всегда было такое впечатление, что все собирались у нас. Может быть, такое впечатление у каждой хозяйки. Во всяком случае, у нас всегда было очень много народа, потому что Борис всегда всем был рад; и я старалась этому способствовать, потому что это ему было совершенно необходимо. Он готов был раздать себя, всё отдать — никто не хотел брать. Но, как выяснилось, потребность у людей осталась, — раз мы сегодня разговариваем об этом.

Вообще, попыток выхода к людям было очень много. Было выступление на телевидении — литературный вторник 4-го января 1966 года. Я даже не помню, как это получилось. Очевидно, редакторы, которые там были, Копылова и Муравьёва (по-моему, ещё Шварц была здесь), предложили Борису сделать литературную передачу, пригласить людей. Он был очень счастлив, когда делал это. Тема была русский язык. Происходило какое-то возрождение этой темы, и Борис собирал людей, составлял сценарий. И после этого получилась передача, по-моему, часовая. Мы смотрели её, и нам показалось, что неплохо, а на следующий день начали подходить люди, поздравлять, пожимать руки, даже мне. И потом пошли всякие неприятности. Сняли директора Ленинградского телевидения Бориса Максимовича Фирсова.

"С." — А что усмотрели власти предрержащие крамольного?

И.В. — Участники передачи говорили, что не надо переименовывать старые русские названия улиц непонятно в какие и в честь кого. Они говорили, что не надо разрушать старые русские храмы, потому что это тоже русская культура. Они говорили нормальные вещи, сейчас бы этого никто не заметил.

"С." — Уфлянд шутил, что ещё бы немного, и Вахтин сказал бы, что надо переименовать Ленинград, вернуть старое название.

И.В. — Он этого не говорил, конечно. Но был очень доволен передачей.

Борис Вахтин. Одна абсолютно счастливая деревня /первая публикация: "Эхо" №2, Париж, 1978/.

Борис Вахтин видел дело своей жизни не в политической борьбе, а в посильном участии в историческом процессе сохранения и развития национальной культуры. В течение более чем двух десятилетий он был инициатором и организатором многих событий, без которых культурная жизнь Ленинграда была бы неизмеримо беднее. Об этом ещё много будут писать; мне хочется вспомнить два эпизода, в которых я участвовал. В январе 1963 года он организовал мой доклад в ленинградском Доме Учёных. Это было через полтора месяца после "хрущёвского погрома" на выставке в Манеже, в период, когда художники-абстракционисты приравнивались к "идеологическим диверсантам". Доклад под названием "О возможности моделирования творческих процессов живописи" содержал теоретическое описание процессов создания и восприятия абстрактных картин и вызвал яростную дискуссию. Через пять лет, в январе 1968 года, Вахтин организовал ставший знаменитым "Вечер творческой молодёжи" в ленинградском Союзе Писателей. Вечер включал выставку и обсуждение моих абстрактных и религиозных картин и чтение своих произведений лучшими поэтами и прозаиками тогдашнего Ленинграда - в частности, впервые после ссылки выступил перед столь широкой аудиторией Иосиф Бродский. Собралось несколько сотен человек, вечер был чудесным. Наутро последовали доносы, расследования и преследования; всё шло своим чередом.

/Яков Виньковецкий. Быть живым. /памяти Бориса Вахтина//

Я помню этот вечер. Это был такой сумбур, столько волнений, столько народу, что нельзя было войти в зал, и мне удалось только через щель в двери увидеть Бродского и услышать, как он читает свои стихи. Я поражена была этим удивительно музыкальным чтением.

Владимир Уфлянд - Зал был набит битком. Там, действительно, читали все очень свободно, зачитались... После этого должны были выступать молодые артисты, Юрский, Рецеттер... На них уже времени не хватило, а может быть, они, хотя уже времени было II часов, почувствовали, что атмосфера не та. Там практически все сумели выступить: Серёжа Довлатов, Яша Гордин, Валерий Попов, Глеб Горбовский, Татьяна Галушко... И меня не столько зал поразил. Когда мы вышли в фойе смотреть картины, то их невозможно было увидеть, потому что там просто нельзя было развернуться. А потом сразу этот донос Шербакова и Утехина, который сейчас главный редактор "Ленинградской панорамы".

"С." - А суть его, суть доноса?

В.У. - Суть доноса в том, что сионисты устроили шабаш, сионисты значит Бродский, Довлатов, Попов, Уфлянд, так меня там называли. И Толстикову донос послали, там нашли виноватого, сняли

директора Дома писателей Миллера. А потом, кстати, через несколько месяцев и сам Толстиков полетел.

Но вот горе — не выйдет из наших ответов ни грозного манифеста, ни потрясения основ, ни свержения памятников. Мы ничего не изобрели заново, а только захотели связать оборванные нити многих традиций, чтоб и наши дни не выпали куда-нибудь в сторону из всеобщей истории искусства. Такое уж это странное время, что появляются повсюду какие-то молодые люди, одетые часто по моде и не без шегольства, которые приходят и без крика начинают делать обычное дело литературы, растят его дальше из своей души, как это делалось во все времена и у всех народов, хоть никто их не звал и не учил этому, а, наоборот, учили, что сейчас время для какой-то совершенно новой и совершенно другой, может даже и не литературы вовсе, а черт его знает чего. И пришли они делать эту работу литературы, как приходят невоенные мужчины делать тяжкую работу войны, потому что надо же кому-то её делать и много окопов кругом опустело. Так что всё то, что нас от них, от остальных отличает и сплачивает между собой, так это глупейшая надежда и мечта, что нет сейчас во всей нашей земле окопчика главнее нашего, и глупее такой мечты может быть только одно дело на свете, именно, чтобы её не имея, браться за перо и лезть в такой окопчик по доброй воле. А в остальном мы ужасно старомодны, мы ничего не выдумали первые, и на возмущённые крики, что всё это уже было и много раз разоблачалось, мы можем ответить только одно — и слава богу: раз было раньше, есть сейчас, значит, и дальше будет, всегда.

/"Горожане" о себе/

"С." — Расскажите, пожалуйста, о поездке Бориса Вахтина в Китай.
И.В. — Я должна вам сказать, что Борис рвался в Китай с тех пор, как он поступил на I курс восточного факультета, а было это в 49 году. Была дружба с китайцами, учившимися здесь. Боря их учил русскому языку, они его китайскому. Были люди, которые дружили с ним и приходили в дом. Борис просто понимал, что если не поучиться в Китае, не будешь китайцем. Это то, что ясно сейчас всем нашим китайцам, кто учился вместе с ним. И китайцы всех стран мира опережают их именно по этой причине. Бориса не пустили ни на III курсе, ни на V, хотя он составлял какие-то огромные проекты, планы, отмечал пункты на карте. Почему не пустили? Я думаю, что и из-за отца, и потом, он просто был очень нестандартный человек, он не вписывался, он был не под контролем. Он свободно мыслил, он свободно вёл себя. И наверное, никто не хотел поставить свою подпись из тех, кто должен был это сделать. И наконец в 66 году, когда там уже началась культурная революция,

ему представилась возможность попасть в какую-то группу, которая ехала туда. Причём она ехала на празднование 1 октября, годовщины революции. Народ был не очень ему приятный, так мне показались по тому, как он об этом потом говорил. Он обычно становился близким другом человека, с которым проводил какое-то время, а тут они съездили в Китай, вернулись, и ни одного близкого друга не образовалось из тех людей, которые с ним туда ездили. Он от туда привёз, конечно, массу впечатлений. У него был маленький красный цитатничек. Он списывал дацзыбао.

Когда он оттуда приехал, началась общественная, очень бурная жизнь. Ему заказывали лекции. И общество "Знание", и всякие институты, университет. И он с огромным интересом и удовольствием эти лекции читал. Рассказывал то, что он там видел. Рассказывал об этом народе. Он очень бережно относился к этим людям и и очень боялся их подвести, китайцев. Впечатления были очень интересные. Цветовое впечатление у него было красно-серое. Едва они переехали границу — сразу совершенно серая земля, серые дома, серые фигурки людей и огромные красные знамёна, полотнища, дацзыбао, раскрашенные портреты Мао цзе-дуна. Они были на площади, на которой проходил парад, на которой было всё китайское правительство, центральный комитет, и они ушли с трибуны всей делегацией, когда в адрес нашей страны были сказаны какие-то нехорошие слова. Борису было там ужасно трудно. Он хотел куда-то пойти, он хотел каких-то контактов, он хотел что-то увидеть за этими стеночками, за которые нельзя было зайти. А нельзя было с двух сторон, потому что и наши следили. У него есть чудный рассказ "Собрание на озере Сиху" о том, как он на некоторое время исчез, сумел убежать от товарищей, которые непременно должны были ходить вместе с ним, и потом его "разбирали". Поскольку заниматься этим в гостинице было нельзя, чтобы не услышали китайцы, то всё происходило на берегу озера. Ему долго-долго объясняли, что так за границу не ездят, что ходить можно только всем вместе, только всем вместе гулять по улицам. Он выслушал всё это, а потом показал глазами на кусты: за кустами маячили головы двух китайцев. Это были рыбаки, прекрасно слышавшие весь разговор.

Это давало ему, конечно, какой-то импульс в жизни. Знаете, есть люди, которые могут сидеть в своей комнате и всю жизнь писать "в стол", это их не убивает. Бориса это абсолютно убивало. Он не мог так, ему нужен был немедленный контакт с людьми. Что бы он ни делал.

Алла Коврижных — Когда он начал с нами сотрудничать, его оторвали от работы над сценарием, он уехал в Китай. Самое страшное время, когда о Китае мы ничего не знали, это была какая-то закрытая, тёмная тема.

¹ Имеется в виду работа Б.Вахтина в качестве сценариста на III объединении киностудии "Ленфильм".

Он вернулся. Мы собрались в директорском зале, и он рассказывал нам часа три всё, что мог, потому что была закрытая аудитория и можно было говорить обо всём, что он там увидел. Это была страшная информация.

За свои полвека он прожил по крайней мере три жизни — жизнь писателя, которого не печатали; жизнь учёного, которому не дали осуществить его замыслов; и жизнь общественного деятеля, не занимавшего никаких постов.

/Яков Виньковецкий. Быть живым/

"С." — У него есть статья в сборнике "Буддизм, государство и общество" о восточной поэзии. В преамбуле статьи он рассказывает о китайском чиновнике, который приходил из присутствия, снимал расовничье облачение, садился за стол и писал чудные стихи.

Расскажите, как был построен день Бориса Борисовича?

И.В. — Он имел какие-то присутственные обязательные дни. Ходил в институт. Мне кажется, что там у него были хорошие отношения с людьми, с сослуживцами... Во всяком случае, до сих пор эти люди приходят в день Бориного рождения сюда, и, как я чувствую, отношения были очень тёплые. Были всегда очень большие трудности с начальством. Один раз начальник даже ему сказал: "Если бы я знал, Борис, что ты сделаешь завтра, я бы знал, что мне делать сегодня". Ему были тесны рамки, он всё время старался за них выйти. Он много, конечно, занимался Китаем, он делал переводы, он сделал две огромные работы, которые до сих пор не опубликованы, они идут, но идут очень медленно. Эти работы отнимали очень много времени, и Боря много над ними сидел, но потом с большим облегчением уходил в русскую литературу. Он вообще был человек, который не терпит слова "должен". Если он должен идти на службу, ему уже не очень хочется. Если бы он был должен писать свои вещи, которые он писал с обожанием всю жизнь, может быть, он как-то не мог бы так им себя отдавать. Китаистику он должен был делать, и мне казалось, что он любит её гораздо меньше, чем литературу.

"С." — Когда он осознал себя писателем?

И.В. — Я узнала его, когда ему было 15 лет, и, по-моему, ещё неполных. Он уже знал, что он писатель, он уже мне говорил, что что-то пишет, что-то мне читал.

"С." — Как на его взгляды повлияла мать?

И.В. — Её влияние было сильным. Он её очень любил и очень ценил, как литератора тоже. Иногда немного иронично относился к чему-то, но он понимал ситуацию, в которой она находилась. Долго Вера Панова была единственной работоспособной в семье, где были трое детей и две старых женщины. Она прожила героическую жизнь. Только под конец жизни она стала писать, как она могла. Любила исторические повести.

"С." - Б.Б. занимался её публикациями?

И.В. - Мало. У неё была сказка "Который час", совершенно не в её стиле, фантастический опус с какими-то намёками на диктаторов. Борис сделал предисловие к ней, и она была опубликована, уже после её смерти. Конечно, был очень большой пресс над ним, ему было трудно не только как сыну из-под руки матери, которую он очень любил всю свою жизнь, но и из-за отношения окружающих, потому что все говорили: "Ну конечно, он тоже хочет писать, как мамочка". Поэтому он никогда в своей жизни такими тропинками не пользовался, и она ни в чём не помогала ему, кроме, может быть, советов, потому что он всё ей давал читать. Она считала, что он талантлив очень, в её воспоминаниях есть фраза о том, что Борис литературно одарён больше других детей.

А.К. - Вера Панова была очень деликатным человеком. Она была прелестной женщиной, с ней было очень интересно дружить. Она рассказывала о своих детях, о своей жизни. Мы услышали о них раньше, чем познакомились, про этих двух талантливых мальчиков. Один - крупный биолог. Боря - китаист, востоковед. Она нам рассказывала, что он пишет. У них дома по этому поводу были разные дискуссии, противоречия, противостояния, потому что вы знаете, кто такая Панова, и, естественно, Борис делал всё наоборот, в своей жизни, в своём творчестве.

"С." - А в социальном плане имя матери играло какую-нибудь роль защиты, уравновешивало ли репрессированного отца, вот в то время: конец 40х и начало 50х, помогло ли это в получении образования?

И.В. - Возможно. Я не знаю, что бы грозило Борису, если бы не это.

Он всегда блистательно учился. С тех пор как он приехал в Ленинград и поступил в 8 класс (в общем-то с нуля, потому что была война, не было никакой школы), он учился на одни пятёрки, закончил школу с золотой медалью, был принят в университет без экзаменов и только на втором курсе получил "другую" отметку - двойку за экзамен по марксизму-ленинизму.

"С." - Из сборника, из других его вещей создаётся образ человека, который город своими подошвами знает. Как он общался с городом?

И.В. - Он очень хорошо знал город, хотя он не был, мне кажется, петербуржцем, фанатически преданным этому городу. Он ведь много лет прожил на Украине, много детских лет. Под этим баснословно прекрасным солнцем украинским. Много раз он говорил мне, что Ленинград очень трудный город.

Маленький, он жил на Карповке. Мы с ним познакомились, когда его мама привезла обоих братьев уже после того, как Украину освободили из-под немцев. Они жили на Украине в деревне всю войну с бабушками - мальчики, два брата. Их мать по литературным делам со своей старшей дочерью от первого брака оказалась в Пушкине, и, когда немцы заняли Пушкин, она тоже очутилась на оккупированной территории. И вот по немецкой территории с 14-летней де-

вочкой она дошла до Полтавской губернии и пришла в дом, туда, где были её мать, свекровь и двое мальчишек. Это путешествие описано её дочерью Наташей.

Когда немцы уже уходили из этого села, они приказали всем быстро собирать вещи и строиться в колонну для угона в Германию. Многие так и сделали, а многие ушли в лес, и через неделю кто-то из мальчишек, которые бегали туда-сюда, сказал, что наши уже в деревне. И они вышли из леса. Потом Вера Фёдоровна переехала в Пермь.

Когда мы с ним познакомились в Ленинграде, жили они на улице Моисеенко. Это была очень маленькая квартира, две комнаты, одна из которых проходная. Они жили там до тех пор, пока Вера Фёдоровна не получила от Союза писателей квартиру на Марсовом поле (Марсово поле, 7). В этой квартире она жила уже до своей болезни. Мы жили там первые десять лет.

Потом мы с Борисом переехали в первую нашу квартиру на улице Школьной, это у Чёрной речки. Переехали мы таким образом – Вера Фёдоровна сама хотела отделиться. Она решила, что эту квартиру она оставит разрастающемуся потомству, а они со стариком (так она называла Д.Я.Дара) уедут туда. Но, когда она посмотрела эту маленькую двухкомнатную современную квартиру, она сказала, что туда они не поедут и чтобы ехал, кто хочет. Мы туда и поехали. А потом уже была улица Петра Лаврова, д.40, кв.15, где сейчас живёт Коля. Мы съезжались уже с моей мамой. Вот и все наши точки.

"С." – То есть Упразднённый переулок в Коломне и Большой проспект Петроградской стороны из "Шести писем"^{***} – адреса...

И.В. – Да, это всё не реальные. Ему просто понравилось название Упразднённый переулок. Он прекрасно знал город, он много очень ходил.

"С." – А в "Лётчике Тютчеве"?^{***} Не совсем центр, а где-то там в...

И.В. – А вот "Лётчик Тютчев.." – это Школьная улица. Тогда она воспринималась как окраина, и место дуэли Пушкина там рядом. И там был вот этот внутренний двор, сейчас он немного другой. Школьная, 5. Окно одной комнаты выходило на Школьную, а окно кабинета (комната была солнечная, квадратная, с балконом, Борис очень любил её) выходило во двор. Большущий внутренний двор. Там была и котельная, которую он описал, и стол, на котором вечно "заколачивали" домино. Он не играл с ними, не сидел, но он как-то хорошо увидел этих людей. Он всех их поселил в повесть. Мы даже не знали, кто живёт на нашей лестнице.

* Николай Борисович Вахтин – сын Ирины Владимировны и Бориса Борисовича Вахтиных.

** Борис Вахтин. Шесть писем /см. "Сумерки" №6/

*** Борис Вахтин. Лётчик Тютчев, испытатель.

"С." - Какой сейчас вам представляется литературная жизнь 60-70х годов?

И.В. - Они были все такие счастливые, как первооткрыватели, потому что они находили что-то, они читали друг другу, ужасно радовались. Я иногда даже сердилась, потому что я этого тогда не понимала. Мы были воспитаны на классике. Мне казалось: "Ну зачем это? Извораживать язык?" Иногда это было очень здорово, иногда очень нарочито. А сейчас я просто иногда удивляюсь. Мне много пришлось читать корректуры, естественно. Я не могла найти, что же меня так удивляло, потому что сейчас это кажется естественным языком. И вот, действительно, само слово, его звучание, лицо - всё очень ими ценилось. Какая была особенная жизнь? У всех у них жизнь души, конечно, была в литературе.

"С." - А они не пытались себя как-то сориентировать во времени?

И.В. - Да, они пишут об этом даже в предисловии к "Горожанам".

Чтобы пробиться к заросшему сердцу современника, нужна тысяча всяких вещей и ещё свежесть слова. Мы хотим действительности нашего слова, хотим слова живого, творящего мир заново после бога. Может быть, самое сильное, что нас связывает, - ненависть к пресному языку. С читателем нужно быть безжалостным, ему нельзя давать передышки, нельзя позволять угадывать слова заранее - каждое должно взрываться у него перед глазами, нападать неожиданно, в секунды ослабленного сопротивления и незащищённости. Любая игра, любые обманы, разрушение привычного строя фразы, неожиданное разрастание придаточных, острейшая мысль, спрятанная где-то в причастном обороте и всплывающая в него оттуда, как из засады, - всё годится в этой борьбе для победы над всё читавшим и всё выдавшим на своём веку современником. Ибо поверьте - в глубине души он жаждет быть побеждённым. И опять мы не сами всё это выдумали, это делали прекрасно и до нас Платонов и Бабель, Зощенко и Олеша, а до них Достоевский и Гоголь. Мы хотим лишь делать то же самое в живом современном языке и, может, даже похожи друг на друга в каких-то приёмах, но так, как похожи китайцы для непривычных глаз русского.

/ "Горожане" о себе /

"С." - Такого ощущения, которое возникло потом, в 70-80е годы, что существует официальная литература и существует "вторая литература", тогда не было?

И.В. - Нет, у них ещё была какая-то пуповина, которая связывала их с официальной литературой. Бесконечные попытки выйти с чем-то об этом говорят. Они понимали, что это ненормально, что они нужны людям, они не смирялись. Борис всегда всё, что он писал,

носил в какие-то издательства, в какие-то редакции, каким-то людям, которые какой-то официальной властью обладали.

"С." - То есть надежда увидеть рукописи напечатанными...

И.В. - Он её не терял до самого последнего дня.

"С." - Как он относился в 70х годах к своим ранним вещам, к трилогии? Вспоминал ли, переделывал?

И.В. - Он любил все свои вещи. Он не считал, что они беспомощные, плохо сделанные. Он их перепечатывал, он готов был их принести в любую редакцию в любой день. Он был чрезвычайно аккуратен в этих своих литературных технических работах, и всё это лежало в папках, аккуратно подписанное, в большом количестве экземпляров. Помните его маленького героя Абакасова, который не одевался, а облачался для того, чтобы быть готовым, если жизнь потребует. Вот она и потребовала, только теперь.

Он готовился. Он не побрился, как люди, - он приобрёл стройность лица, и не оделся, как прочие, - он облачился в доспехи, чтобы встать на пост своей жизни в боевой готовности.

/Борис Вахтин. Абакасов - удивлённые глаза/

Да, он никогда не терял надежды, что они будут напечатаны.

Теперь я не теряю надежды, что будет напечатано собрание сочинений.

По странному совпадению или по неизвестной закономерности оказалось, что все мы четверо исторически и национально конкретны. Мы можем писать только о том, что знаем - не только внешним знанием, но и внутренним, не только видением, но и провидением. Мы бы рады писать о положении негров в Алабаме и о жаре в Южноафриканских рудниках, о партизанах Брянских лесов и о великих открытиях Тура Хейердала - но мы оставляем писать это тем, кто хорошо об этом знает. Вы это знаете? Так и пишите. Мы хорошо знаем себя и то, что нас окружает. Мы хорошо знаем свою страну сейчас, здесь, в этот её час и верим, что достоверное воссоздание того, что мы знаем - достаточное основание для полного собрания сочинений.

/"Горожане" о себе/

В 1974 году Вахтин был привлечён свидетелем по "делу Хейфеца-Марамзина". Это было плановое мероприятие КГБ, затеянное с целью заугать интеллигентское население Ленинграда и продемонстрировать идеологическую бдительность "органов". Мы вместе

тогда решили отказываться от дачи показаний. Разница была в том, что я к тому времени уже решил эмигрировать из СССР при первой возможности, в то время как Борис принял твёрдое решение остаться. Мужественное поведение Вахтина на следствии вызвало ярость КГБ и навсегда разрушило его научную карьеру.

/Яков Виньковецкий. Быть живым/

Тут была одна смешная история, сын мне напомнил её.

Когда Бориса вызвали на допрос по этому делу в Большой дом, он пришёл в кабинет, в который ему полагалось прийти, и сказал, что на все вопросы отказывается отвечать. Ему задавали вопросы, а он говорил: "Я отказываюсь отвечать на этот вопрос". Его спрашивали: "Знаете ли вы такого-то?" А он говорил: "Я отказываюсь отвечать на этот вопрос". Было известно, что он знает их. Но он всё равно говорил: "Я отказываюсь...". Тогда ему назвали совершенно незнакомую фамилию, он чуть было не сказал: "Нет, я такого не знаю". Но вовремя спохватился.

А.К. - Мы с ним встречались у "Стерегущего", назначали друг другу свидания, чтобы всё это обсудить, по телефону мы старались на эти темы не говорить.

Он рассказывал, что с ним происходило, как его допрашивали. Эти допросы по времени превышали все нормы. Он сидел там с утра до позднего вечера, до ночи. Их вели в разной манере: в мягкой, жёсткой. Конечно, они от него требовали, чтобы он о нём (Марамзине) всё рассказал, осудил и был свидетелем обвинения.

"С." - Сколько было допросов?

А.К. - Не меньше трёх. Это были очень жёсткие, грубые допросы, разве что не били, это точно, что они его не били, но они угрожали, говорили, что полетишь, лишишься всех званий, жрать тебе будет нечего и, вообще, ты нас всех ещё узнаешь. Он говорил: "Хорошо - полечу, хорошо - лишусь всех званий, хорошо - печататься не буду. Я сильный, я умею копать землю. Со мной вы ничего сделать не можете. Посадить вы меня не можете, и вы меня не заставите". Короче говоря, он держался великолепно.

И.В. - Ну, это же ясно. Нужно было держать всех в руках. Если кто-то, как Володя Марамзин, бегает по городу с горящими глазами, собирает Бродского и собирается собственными силами издать Бродского в 5-ти томах, то, конечно, по мнению работников КГБ, нельзя было оставить это без внимания. У него был обыск, нашли какую-то литературу, поскольку человек интересовался литературой.

В.У. - Володю Марамзина я сначала как издателя узнал, а потом как писателя.

А.К. - Он тогда как раз рассказывал мне, что он собирает этот многотомник. Он рассказывал, что - Боже мой! - он обходил

всех девочек, которым Ося посвящал стихи, он как бы был его биографом, он ходил следом, расспрашивая его, ходил по всем его знакомым, выпрашивал тексты на салфеточках, на бумажках, на огрызочках. Как все поэты, Иосиф писал где попало и разбрасывал эти стихи.

"С." - Как Бродский относился к такой работе Марамзина?

А.К. - В основном не возражал, но я не думаю, что очень помогал ему. Я, со своей стороны, отдала ему все переводы Иосифа, все черновики его, о чём сейчас, в некотором роде, жалею. Одновременно он составлял библиографию Платонова, был знаком с его вдовой.

Александр Антонов - Вся компания очень давно была под прищелом, под присмотром этой организации. Всё-таки такой литературный салон, клуб, кружок... Поначалу какие-то разговоры, круг ширился, такие интересные люди. Естественно, это попало в поле зрения людей, связанных с организацией, естественно, стали приглядываться, кто туда ходит, что там такое, как они там собираются. Начиная с 1968 года начали следить. Я помню, в начале 70х годов Володя представлял, как они придут, будут звонить, он им не откроет, они будут ломать дверь. Мне даже кажется, что иногда он на рожон лез. Или по-другому вести себя не мог. Он тогда был связан с журналистами из Франции. Он с ними перезванивался. Телефон прослушивался. Меня, вызывая по другому делу, спросили о Марамзине.

"С." - О собрании сочинений Бродского?

А.А. - Это внешняя сторона. Там накопилось намного больше. И одна из неприятностей - то, что он всё-таки был связан с Францией, отправлял литературу, давал читать.

А.К. - Володя Марамзин был тем человеком, который привозил в Ленинград весь самиздат, это была его добровольно взятая на себя миссия, и он выполнял её блестяще. Из его рук я получила весь главный самиздат, который был в ту пору: Амальрика, Сахарова, Марченко, Гинзбург, все "Хроники", процессы. Он приносил всё и, мало того, очень мягко, не принуждая, но как само собой разумеющееся, давал, чтобы мы перепечатывали. И я перепечатывала. Его судили, между прочим, с точки зрения властей, совершенно не напрасно.

А.А. - Вы знаете, он был каким-то в этой группе толкачом, редактором, если хотите. Самым деятельным человеком, который ратовал за то, чтобы сборник "Горожан" был напечатан. Когда собирались у него на квартире, он был не только хозяином, он был душой. Это несколько другой аспект. На него как-то всё замыкалось.

"С." - Т.е. в какой-то степени он ощущал себя не только писателем, но и редактором?

А.А. - Да, именно его кредо как руководителя-редактора, собирателя, хранителя совершенно ясно было всем. И все с удовольствием отдавали ему приоритет в этом. Надо сказать, что Марамзин в этом отношении был и очень педантичным человеком. При его разбросанности, энергии он мог потерять всё что угодно, много раз

терял документы - рукописи он не терял никогда. Он мог потерять деньги, мог кому-то дать и забыть. Рукопись для него всё. Книгу мог подарить, мог дать чужую книгу и забыть. Рукописи были всегда в порядке. И вот это трепетное отношение к чужому тексту, который ему доверен, сказывалось не только в том, что Марамзин у себя хранил. Он всегда был педантичен в снятии копий. Если печатал, то всегда стопроцентно соблюдая авторский текст, даже если что-то, с его точки зрения, там было неправильно. Компановка журнала - тоже его задача.

"С." - Т.е. речь шла о журнале?

А.А. - Да, но это высказывалось как предположение, и появились эти рабочие названия: "Горожане" или "Горожанин".

Насколько я помню, речь шла о том, чтобы определённая группа имела возможность опубликовать свои произведения хоть где-то. Но ориентация уже шла на то, что, скорее всего, это будет опубликовано на Западе. Чтобы избежать каких-то санкций со стороны властей, нужно было несколько раз достаточно весомо заявить о себе и получить какие-то обязательные, пускай даже отрицательные, но рецензии на некий перечень произведений. И, имея уже отрицательный отзыв, эти люди могли совершенно спокойно предложить свои произведения на Запад. Таким образом у них у всех что-то вроде индустрии было - что вот, мы вам предлагали, вы отказались, а вот появилась такая возможность. Причём ни одно из произведений, заранее отобранных, не должно было нести резко выраженную антисоветскость, в виде такого клейма, штампа.

"С." - Это было поколение людей, настроенных на официальные издания?

А.А. - С этого всё начиналось. Они все пытались пробиться к тому, чтобы этот журнал выпустить. И чем больше они обжигались, чем чаще им отказывали, тем у них больше появлялось настроение: "Ну а где же печататься?" Они уже могли выпускать либо журнал, либо альманах. Поначалу какое-то неперIODическое издание. А потом уже периодический сборник. Может быть, не регулярный, но с устоявшимся названием.

"С." - Т.о. в Париже В.Марамзин попытался воссоздать тот журнал, каким он должен был быть здесь?

А.А. - Возможно, только, согласно одной из версий, здесь предполагался журнал иллюстрированный.

На одном из, как мне кажется, чаепитий, сухого вина питий присутствовал великолепный художник Яков Виньковецкий. Я не помню, кому принадлежала идея, но было высказано желание, чтобы Яша проиллюстрировал I-й готовящийся к выпуску сборник "Горожан".

Этот человек был одним из участников этой группы, это я могу утверждать где угодно. Он, не входя в обозримый круг "Горожан", находясь за пределами даже перечисления имён, был одним из негласных лидеров. Если бы состоялась сама по себе акция, удалось бы напечатать I-й сборник, появился бы 2-ой и т.д., и т.д., "Горожане" бы нашли для себя устоявшуюся платформу, утвердились,

были бы признаны, явно какое-то место в этом альманахе или журнале, как угодно, заняла бы рубрика, которую вёл бы Виньковецкий, рубрика такого философско-рассужденческого плана...

"С." - Не только художественное оформление?

А.А. - Это всё было уже вторичным бы. Это ведь был философ. Человек очень одинокий, страшно одинокий. Очень скупой на слова. Но очень широкий по мысли. Чтобы его слушать, надо было находиться в постоянном напряжении. Это такой сгусток нервов, мыслей. Чуть отвлечёшься - и уже потерял совершенно нить его рассуждений. И это качество спрессованности. У Марамзина - активная энергия, открытая, у Виньковецкого - эта же энергия, спрятанная, она прорывалась в его живописи. Там уже что-то необузданное, но по краскам, только по краскам. При довлеющей религиозной тематике совершенно гражданственная концентрация красок. Контрастные краски. Это ещё и понимание сущности каждой краски как отдельной субстанции. Жизнь краски - это жизнь литературного текста.

"С." - Он работал геологом?

А.А. - Работал. Хотя года за два до отъезда он уволился или его уволили. Он был в очень стеснённых обстоятельствах и получал мизерную зарплату младшего научного сотрудника. Был подталкиваем со стороны, чтобы бросить работу и заняться чистой живописью на продажу.

"С." - А это было возможно?

А.А. - Его картины, конечно, по сегодняшним ценам были безумно дешёвы. По тем временам, начало 70х, - 300 - 400 рублей - эта сумма была значительной. Его картины пользовались успехом. Они раскупались.

"С." - А много их в Союзе сейчас?

А.А. - Вы знаете, как неудачна его судьба во всём, так неудачна, по-моему, и судьба его полотен. Я знаю только лишь, что у Вахтиных от Бориса перешла к сыну одна работа. Одна работа есть, по-моему, у Кулакова.

Как, кстати, и печальна судьба текстов его. Суть беды в том, что Виньковецкий не печатал на машинке. Он писал от руки I экз. Хорошо, если появлялся такой человек, как Марамзин. Но Виньковецкий мог от руки написать, кому-то дать, забыть. Вот в чём трагедия его текстов.

"С." - С чем была связана эмиграция Виньковецкого? Она связана с процессом Марамзина?

А.А. - Насколько я помню, Виньковецкого вызывали как свидетеля, на суд его не вызывали.

"С." - В эмиграции жизнь его тоже не сложилась...

А.А. - Это вообще катастрофа, он покончил с собой. У него неудачная семейная жизнь, неудачная жизнь как учёного, хотя он учёный, видимо, был большой, великолепный художник, судя по тому, что мне известно... Раз его ценили такие люди, как Вахтин и Марамзин, то он был великолепный совершенно литератор. Вот видите,

сколько талантов, но всё, к сожалению, пропало. И в итоге остаётся мифическое имя и ничего конкретно. Но то, что за этим именем многое было, это я могу сказать совершенно точно, за ним стоит что-то. Надо поискать. Если бы удалось связаться с вдовой... Надо торопиться.

Когда перестаёт быть живым близкий, главный для тебя человек, — с новой силой приходят мысли, которые обычно заталкиваешь под поверхность сознания. Уходит и обваливается в темноту, каменеет часть собственной жизни. С тонкой, глухой болью рвутся корешки, связывающие с прошлым. Мы ещё тут, в жизни, а его уже с нами нет. Что мы здесь делаем? Невидимый пронизывающий поток протягивает нас поодиночке и группами, полосками-поколениями из будущего в прошлое, через ярко освещённое пятно "настоящего", жизни.

Только здесь, в жизни, мы располагаем свободой — протекая через отпущенную нам последовательность лет, дней, моментов, мы меняемся и действуем. Зависит ли что-нибудь от того, что именно мы делаем — что выбираем в жизни и делаем собой? Тысячей взаимосвязей уходит от нас в жизнь наши поступки и наш облик в каждую происшедшую с нами секунду. Каждое отдельное может исчезнуть, затихнуть где-то и раствориться; а может, хоть и незаметно, остаться навсегда моментом, вложенным нами в ещё не исполнившийся поток бытия. Всё будущее мира может зависеть от мгновенной улыбки, оброненной кем-то когда-то или любым из нас сейчас, эту секунду. Наверное, есть в размахе истории непостижимая для нас до конца направленность и даже предопределённость; но есть и открытость-свобода, выбор и риск — в истории всего мира, как и в единичной человеческой жизни.

/Яков Виньковецкий. Быть живым/

"С." — Каких ещё художников встречали вы в доме В.Марамзина?

А.А. — Несколько раз там был Олег Целков. С моей точки зрения, художник удивительный, потрясающий. Для меня это было просто откровение. Для моего поколения тогда проблемы сюрреализма ещё только-только набирали обороты. Я даже думаю, что это каким-то образом сказалось на текстах этих людей. В общем-то, можно некоторые тексты рассматривать не только через призму той эпохи, "Горожан", но и через призму художников, которые их окружали.

Бывал Кулаков, который в основном пытался выступать как портретист. Все портреты, как правило, у него чётко в одной позе. Несколько смещена голова. Композиционное расположение фигуры в пределах холста всегда одинаково. Это было замечено не только мной. Сказывалась его манера и в приверженности к определённому

цветовому колориту. Хорошо это или плохо? Когда было устроено что-то наподобие выставки на квартире В.Марамзина, там это всё и выплыло наружу.

И.В. - Когда Борис принёс портрет домой, он меня ужаснул. Это было что-то страшное. Входя в комнату, я старалась не смотреть в ту сторону. Через некоторое время нянечка, двадцать лет жившая у нас в семье, сказала мне: "Ирочка, Боря становится похож на свой портрет".

По моему настоянию, Борис унёс его из дому. Он подарил портрет Марамзину, а тот увёз его с собой в Париж. Теперь он висит у него в офисе.

"С." - У В.Марамзина часто устраивались выставки?

А.А. - Многие работы у Марамзина были как бы "повисеть". Приходит к кому-то: "Какая вещь хорошая - купить я не могу." Он всегда без денег. Это объясняется тем, что он очень хлебосольный человек, добряк, всё что есть, - на столе. Он по-другому жить не мог. Если надо, у него у самого денег нет, но он пойдёт, у кого-то займёт. Редкое качество. И объясняется жадной жить, жадной помочь. И здесь жадна - хоть посмотреть на красивое произведение. "Вот отсюда дай, хоть повисит у меня, я купить не могу, денег нет." У него была масса чужих картин, которые могли год висеть, могли два дня. Они приходили, эти картины, потом уходили. Но иногда, когда набиралось большое количество разных работ, устраивался своеобразный веонисаж.

"С." - Какое отношение к "Горожанам" имел С.Довлатов?

А.А. - Он пришёл самым последним. Причём, по одному из высказываний Довлатова, как только он вошёл в эту группу "Горожане", тут-то всё и развалилось. Это фраза такая ёмкая, впечатляющая. Почему развалилось с его приходом, не могу сказать, но дело в том, что уже сгущались тучи над Марамзиным и его вот-вот должны были взять. У него уже, кстати, был обыск.

Это все прозаики, они все одного возраста, люди одного поколения. Может быть, Борис был более или менее устроен. За границу ездил, переводчиком был. У него было наиболее устойчивое, признанное положение. А вся остальная группа была на вольных хлебах. Что мы можем сказать о текстах Довлатова до эмиграции?..

"С." - Один из редких случаев, когда писатель приобрёл себе имя в эмиграции.

А.А. - Здесь-то он был известен, он публиковался, но в принципе мы всё получили оттуда. Конечно, кто-то читал, обменивался, шли разговоры, давали тексты, он сам давал, читки были... Но, по сути дела, человек был не у дел и тоже находился, насколько мне известно, в весьма стеснённых материальных обстоятельствах. Что же тогда их объединяло? Я не думаю, что только эта неустроенность. Это самое всё-таки последнее. Схожесть судеб в бытовом плане не

*Портрет Бориса Вахтина работы М.Кулакова.



Михаил Кулаков.

ПОРТРЕТ БОРИСА ВАХИНА

/воспр. по "Эхо" №14/

означает схожести характеров. А тут что-то было общее. При всей своей разноликости они имели природный дар чутья прозаического языка. Кроме того, очень честное и трепетное отношение к слову не только к своему, но и чужому. Вахтин как-то сказал о рукописи Довлатова: "... Серёжа мне дал рукопись, я её прочитал... я там у него везде, где надо, вложил листочки со своими пометками". Это о многом говорит. Это отличало и Довлатова.

"С." - Т.е. не карандашом на полях...

А.А. - Он в рукопись вообще не влезал, это Вахтин. "Так он же мне на мои пометки вложил на листочке свои". Беспардонности совершенно не было. То, что он читает, для него уже совершенно скомпанованное произведение. Он не паршивый редактор, который знает всё, а редактор - "ухо режет".

фраза Марамзина: "Читаю-читаю, как еду по широкому шоссе, вдруг колдобина. Вот это слово, которое не на месте". Где-то на прекрасном шоссе прозы вдруг яма, которая выбивает полностью из спокойного течения мысли. Такое понимание текста было у каждого из них. Кстати, прочитать тексты Ефимова - там тоже точное попадание в слова всегда. Вот это их, очевидно, ещё объединяло. Своеобразная специфика мышления уже. Не то что я посидел над текстом, поработал, пошёл дурака повалывать. Если разговаривает с женой, он точно так же бережно фразу строит, и если язвит, то так, чтобы эффективно было. Потому что юмором обладали все.

Был один случай, когда Марамзин написал эссе и мучился, не мог придумать название. Марамзин написал его в течение вечера, находясь в очень неопределённом каком-то состоянии, а наутро в этом доме появился Вахтин. Володя Марамзин сказал: "Не знаю, как назвать". Вахтин, пробежав глазами короткий, в 2 машинописных листа текст, тут же выдал: "Прочь с места катастрофы". И это было стопроцентное попадание. Марамзин сказал: "Вот что значит чутьё к тексту и профессионализм, понимание того, что есть литература". Название этому произведению Вахтин придумал моментально, причём я понимаю муки Марамзина, текст очень короткий, но весьма спрессованный. И увидеть пружину, стержень этого произведения, по своему спорного, удалось именно Вахтину. Это лишний раз доказывает, что они были очень близки, понимали друг друга с полуслова.

"С." - Расскажите об истории "Метрополя".

И.В. - Я помню, что Борису позвонил Вася Аксёнов и сказал, что вот у нас возникла такая замечательная идея собрать сборник, мы будем его толкать, пробивать, давайте ваших ленинградцев. Аксёнов был в Союзе, но думал ли он уже об отъезде, я не знаю. Борис организовывал ленинградскую группу, он сделал большой макет этого "Метрополя" - огромный альбом, наверное размером с ватмановский лист, и на эти листы наклеивались машинописные листы. Этот экземпляр был у нас дома, и я своими руками отдала его Петру Кожевникову, как участнику. Почему я это сделала, я не знаю до сих пор. Я это сделала сразу после смерти Бориса. У меня была просто потребность людям что-то раздать.

А.К. - Кто-то позвонил и сказал: "Хочешь почитать "Метрополь"?"
Володя говорит: "Хочу". Вернулся, сгибаясь под тяжестью, потому что это был огромного размера макет. И мы, положив его на диван, ползая на коленках, читали несколько суток.

Этот экземпляр был для Володи Маразмизина.

В.У. - Для Бори Вахтина.

"С." - Недавно вы снова встретились с И.Ефимовым и В.Маразмизиним...

В.У. - Володя и Игорь вообще рискованные ребята: другие наши знакомые, которые уехали, запаслись работой, профессорской или ещё какой-то. А они приехали на Запад и начали как свободные предприниматели, на свой страх и риск. У И.Ефимова своё издательство "Эрмитаж".

А.К. - Володя вспомнил свою первую работу: техническая информация, переводы технических текстов.

ЭХО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Более двух третей журнала составляют материалы разнообразного литературного самиздата "оттуда", из России. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Публикации. Переводы. Юмор. Современная лексика.

"Эхо" он издавал параллельно, на собственные деньги, не получая ничего, все 14 томов лежат огромными тюками в его подвале (он живёт на первом этаже). Они не распроданы.

"С." - С нашей точки зрения, это один из лучших литературных журналов вообще.

В.У. - Видимо, у него был банк рукописей, он ориентировался на питерскую литературу. Особенно новой эмигрантской литературой он не интересовался. Там же огромное количество изданий, с которыми ему незачем конкурировать. Он, видимо, своё дело сделал, посчитал свою миссию законченной.

"С." - Что с вашей точки зрения, привело к эмиграции С.Довлатова?

В.У. - Я думаю, что немалую роль сыграло то, что всё-таки разъехались люди нашего круга. А потом жёстче с работой стало. Он стал фигурой заметной. КГБ уже стал за ним ходить. В милицию его забирали; так в КГБ его не таскали, а вот милиция его унижала. Просто за ним бегали. Видимо, участковому дали задание, он его ловил.

"С." - Каким вы нашли его в Америке?

В.У. - Из всего нашего круга он меньше всех изменился. Его манера жизни осталась совершенно той же. Он жил не так, как все американцы: счёт был арестован в банке после банкротства его газет "Новый американец".

"С." - Газета выходила долго?

В.У. - Год с лишним и была довольно скандальной.

Они взяли для американцев слишком непривычный тон. Они её слишком литературной сделали, причём литературной на таком уровне, какой эмиграции нашей не нужен. Они конкурировать с "Новым Русским Словом" не смогли. Потому что "Новое Русское Слово" наполовину ориентировано на Брайтон Бич. Они хотели поднять этот уровень и не выдержали конкуренции.

А.К. - Издана книжка Серёжиных статей в "Новом американце". Это блестящая литература фельетона.

В.У. - Его прекрасные выступления на "Свободе". Я понимаю, почему он на "Свободе" работал, потому что "Свобода" может платить наличными. Главные заработки он получал там. Он делал это на высоком уровне. Они сами говорили по радио, что хотят собрать его выступления на "Свободе" и издать. Причём самое потясающее в последнее время было, что он очень хорошо почувствовал то, что здесь происходит, и какие-то искал в этом утешительные моменты, и старался скорее ободрить людей, чем разочаровать.

"С." - И В.Маразмин, и И.Ефимов, и С.Довлатов после эмиграции так или иначе занимались или пытались заниматься редакторско-издательской деятельностью.

А.А. - Очевидно, это стало уже их частью. Надо обязательно текст доводить до "ума", при этом очень трепетно относясь к авторскому слову.

Я никогда такого бескорыстного общения между людьми не видел, как в те годы на Гражданке, свидетелем которых мне повезло быть.

И теперь, ответив на столько вопросов, мы хотим задать свой маленький единственный вопрос: почему это всё так устроено, что мы имеем полное право объединяться в народных дружинах и очередях за пивом, в обществах коллекционеров и рыболовов, в кооперативах и садоводствах, в коммунальных квартирах и общественных судах, в гулянках, танцульках и даже гонках на мотоцикле и не имеем права объединиться в одной книге, как творческие единомышленники - почему, почему, почему?

Кто это выдумал?

Кому это нужно?

Для кого это страшно?

Молчите?

Ну, то-то же.

/ "Горожане" о себе /

Как я думаю

Очень вас прошу – сделайте ударение на к а к , мне всегда неприятно ставить знак ударения над односложным словом. От этого меня коробит. Это вульгарно и невежливо. Это значит всех, кроме себя, считать дураками. Будто они сами не сумеют прочесть правильно.

Итак, как я думаю? Так же, как и вы. Сядьте, подоприте голову и подумайте, как вы думаете (очень вас прошу-сделайте опять ударение на как). Вот и я думаю, как вы (здесь не нужно ударения на как, благодарю вас). Я думаю без плана, без системы. Из хаоса ассоциаций в мозгу вспыхивает картина, в ней множество деталей. И вот одна деталь растёт, она занимает всё поле зрения, она становится больше поля зрения, и тогда вы её уже не видите, а из неё уже родилась новая галактика ассоциаций, и они рождают новые и новые пятна картин, где целое смешано в кучу с частями, намёками, воспоминаниями, осколками, окрашенными чувствами, чувствами чувств, воспоминаниями чувств, словами, фразами, кусками слов. И каждая крупница этого хаоса может разрастись, победить, захватить всё поле умственного взора и родить новый хаос.

Я думаю совершенно так же, как вы. Закройте глаза. Надавите большим и указательным пальцами на глазные яблоки. Вы увидите – только нужно долго давить – интереснейшие смены и переходы цветов (синего, зелёного, красного, у меня под конец бежевого с лиловыми звёздами), которые рождаются один из другого, переливаются, играют. Но надо уметь давить на глаза, с нужной силой, продолжительностью, в нужное место, только тогда получается.

Это большое искусство — уметь давить на глаза. Один мой знакомый так любил это занятие, что ослеп, о чём, впрочем, нисколько не жалеет, ибо с закрытыми глазами научился видеть гораздо больше, чем видел прежде с открытыми.

То, как мы думаем (ударение, пожалуйста), ключ, по-моему, к кинематографу будущего. Может быть, и в целом к искусству (если не забывать, что цель искусства не просто передать личность творца, а передать её искусно).

Между прочим, сказанное выше непосредственно связано с этикой. Думать по плану — убивать свободу ассоциаций, насилловать и уродовать природу. Творчество и свобода — синонимы. Человек должен расти свободно, ибо он растёт для творчества. Пусть рост его идёт по тем путям, по которым идёт. Это будет только хорошо — человек (каждый!) от природы добр. Теперь это все знают.

Как видите, я думаю совершенно так же, как и вы.

Дальше всё понятно.

* * *

Свеча — она живая, электрическая лампочка мне враждебна.

Когда горит свеча, предметы неподвижны, а их тени мечутся, движутся, сталкиваются, разбегаются.

Свеча горит очень тихо, лампочка всё время вопит.

В детстве я жил в деревне, читая при ёлочных свечах, а когда они у нас кончились, то при лампаде. От лампады почти нет света, только небольшой кружочек, читаешь совсем близко от набухшего в масле фитилька, похожего на гусеницу. И строчки кажутся написанными крупными буквами, а повествование — очень значительным. Жаль, что мне тогда не попалось стихов.

Когда уставали глаза, я лепил. Фигурки были маленькими, а тени огромными, они разбегались в углы комнаты. Появлялся хозяин, брал лампаду, ставил её перед иконой и начинал красиво и прилично молиться. Читать становилось темно.

Прошло много лет, и вот я — взрослый, икон у меня нет. Вдоль стены книги, за окном — большой город. Но иногда я гашу свет и зажигаю свечу на окне. Между прочим...

Алхимия

Все — кто-нибудь, все — во что-нибудь, все — исти. И я подумал: а я? Кто я? Символист? Нет. Футурист? Нет. Ист? О, что вы!

Это показалось обидно. Все кто-нибудь, а я — не кто-нибудь.

Я посмотрел в ящик письменного стола. Там был хаос. Плохие стихи (от головы!) клубились среди неплохих эссе (от головы!), неважные киносценарии среди важных философических опытов, рассказы элегические среди рассказов иронических. И всё это тонуло в идеях. Листы бумаги, клочки бумаги, обрывки, тряпочки, культяпки были покрыты идеями, идейками, идеюшками, кусками идей — чудовищными, глупыми, умными, грязными, чистыми...

Я посмотрел в голову. И там был хаос. Там варился бред, происходили процессы вздорообразования.

И я понял: я алхимик. Я ставлю опыты в поисках особого философского камня.

А что у меня получится?

А не то, что у вас.

Ведь я — алхимик.

Образ

Привыкли говорить — я видел сон; в тумане мне почудились черты того-то и того-то; мне померещилось виденье. Я не видел сна, не было тумана, видений и прочих игрушек. Я п р и д у — м а л образ, слушайте:

Город, серые стены, площадь, мощённая камнем. Кучки людей. Все смотрят вверх, смотрят по-разному. А там высоко над ними странным делом занят человечек — он строит радугу из разноцветных кирпичей. Он уже дошёл до середины радуги, и совершенно непонятно, отчего это сооружение не упадёт.

По-разному говорят люди на площади, а высоко на краю уходящей вдаль стрелы, нависшей над городом, человечек кладёт разноцветные кирпичи.

Такой был образ, и вдруг он вырвался от меня, разрушил комнату, дом, квартал, масштаб сменился, и вот уже я стою в толпе, а над нами растёт уходящая вдаль кривая, обязанная рухнуть и почему-то вопреки всем законам не падающая, а на ней человек бог знает откуда берёт кирпичи и выкладывает радугу, яркую, блестящую и, казалось, покрытую каплями недавнего дождя, и фоном служат бескрайние плоские тучи.

Я не выдержал и рассказал об этом.

Звезда, глаза и лампа

У всего на свете есть имя. Деревом называется дерево, а не свечка, эшафотом эшафот, а не письменный стол, женщиной женщина, а не мужчина, писателем писатель, а не столяр. И наоборот.

И есть мудрость в точности имён. И если не мешать природе, то из деревца вырастет дерево, из мечтающего — писатель, из девочки — женщина и из политики — эшафот.

А если мешать, то ничего не вырастет либо произойдёт смешение имён: столяр, тоскующий по перу, пень, выбросивший ветку, мужчина с женским сердцем и письменный стол, требующий четвертования.

И не будет ничего, или будет страдание.

Но приходят странные люди и в мире точных имён начинают комедии ассоциаций. И оказывается, что в точности имён нет мудрости, ибо нет непереходимого в воображении — в нём нет даже различий между запомнившимся сном и запомнившимся фактом, между мной и тобой (ибо воображение — это я, и нет его в реальном мире), так что уж говорить о деревьях и свечках, письменных столах и эшафотах, мужчинах и женщинах, писателях и столярах. Что уж говорить о звёздах, глазах и лампах.

Что уж говорить обо всём этом.

Снова — на сколько лет? — наступает время письменного стола. Время одиноких. Самая могучая, самая мерзкая и преступная — интересно, будет ли когда-то гаже? — государственность провоняла всё. Одурманенные люди — манекены с вялыми неестественными движениями, загнипнотизированные обезьяны — сохранили — да и то в слабом виде! — только первейшие реакции. Их лупят, они кричат, их кормят — благодарят. Ловкая подделка кажется им выражением гения, обещание — действительностью, страх — этикой, ненависть к новому — особой мудростью. Их любимое занятие — скопом избивать непохожих, их мечта — быть обманутыми и убеждёнными, их общественное призвание — "проводить" и "благодарить".

Воняет всё — люди, стены, земля. Узкая канализационная труба называется парадизом. Жульнически, шулерски плутуя с ценностями, шайка ловкачей, нажившихся за счёт дураков, всю свою накопленную силу обратила против человека и человечности. "Выходи-и!" — кричат провокаторы человеку. И как только он выходит, накидываются на него, как бесы накинулись бы на Данте, не будь с ним Вергилия. И в это время актом мужества будет одинокий труд. Один на один с самим собой ты должен искать и работать. И каждому, с кем встречаешься, не жалея и не таясь, отдавать свою человечность. Не думай, что этот твой подвиг станет известен — бумага легко горит, а память легко слабеет. Не думай, что это радостно, что это истина для всех времён. Нет, это ужасно, ибо это доля побеждённых, хоть и механической силой, это уродливо, ибо годно лишь в пору отчаяния и невозможности ничего другого. Тебя бросят все, и не просто бросят, а со злобой и оскорблениями, требуя от тебя свидетельств, справок, документов о праве на такую жизнь. Друг скажет тебе: "Кому ты нужен?" Любимая скажет, что ей дороже синица в руках, чем лебедь в небе, враг будет кричать тебе: "Трус, где ты?" Но ты сцепи зубы, сожми кулаки и иди, иди, иди... Ну же, ещё один шаг! Прямее спину, выше голову! Ты несёшь на себе достоинство и величие человека, всю культуру, созданную от Пушкина до Цветаевой, от Кантемира до Бакунина, от Рублёва до Врубеля твоими товарищами по несчастью быть русскими. Спокойнее взгляд, с ними ты непобедим, ибо имя этому — бессмертье.

Прочь от места катастрофы

Борису Вахтину

И надо же попасть на глаза ребёнка такая страшная картина, уличного переезда после перелома буквально человечности. Не было слышно ни птичек, ни шороха, никого. Народ обступил, борясь с отвращением крови. Милицейские как с неба выпали, даже непонятно: если находились ответственно тут, то почему не отвратили из-под шины. Медицинские с воем пронеслись перекрёсткам пользуясь обгонять, но всё равно опоздали на жизнь. Страшное сейчас время, которое калечит механически души, шина, кажется, мягкая, но не удушает, рвёт до кости. Моторную часть никто не осуждает, а ведущий сам вскрикнул и потерял действительность, будет долго выходить из учреждения власти на воздух. Много предлагали запретить владение, не умея массово ездить, особенно поперёк друг друга, но строят новый итальянцы по миллиону штук с конвейера, некуда девать — такая опустилась генеральская линия. Не знаю, что тут сказать про женщину. В личной ей большее место, когда она особенно своя. Чужих пусть возят вокруг нас в автобусе: без них пусто, много воздуха, а он газовый, и без прижима, некоторые сами со страстью, но делают вид отвращения. А в мороз особенно желаешь прислониться, как писал Есенин, к мягкому, к женскому — не к мужскому же. Один у нас поэт, и тоже зарезали. Писал личной кровью, английская какая-то кровь была, из шеи, выходила сама, как народное сознание. Случайно вступил в политическую борьбу, всемирно-историческая Айседора раздевалась при народе за одно слово поэта. Называла Ивашечкой, но разошёлся и шесть детей бросил как один. Ивашечка, то есть сокращённо русская национальность — всё больше сокращала как запанибрата с поэтом. Вообще иностранных мы не уважаем, кроме женского туризма. Особенно любим малые нации, даже без цвета кожи. Суоми с финляндского вокзала на выходной приезжают с пособием, возраст у себя на бирже не вышел мордой, и они не чают надежды, кроме наших побратимов. За так, конечно, никто не берётся, языков ихних не знаем, а столичную можно принять в благодарность между народов за труд, но израсходовали всю для холеры, в Астрахани школьники подносили по домам для убеждения лекарства, а

новая экстремальная холерность не восстанавливает, поэтому теперь разослали по всему государству, кроме мест опасности. На рупь приподняли, потому что для лекарства холерникам сбавили на примерно эту сумму, но в газетах не извещали: не манить нас в болезнь эпидемии. Распределили тяжесть поровну с больной головы на здоровую, финские тоже несут удовольствие за Керчь, Одессу и Астрахань этого года: то же самое им бьёт теперь с копейками рублём, с небольшими. При наличности, правда, этот рупь вынимаем и сами. Для заграницы такого найдётся, я достаю из широких штанин, говорил Маяковский, у советских собственная гордость по этому делу. Один был поэт, фигурально восьмью пядей во лбу, выше всех писателей, посмертно восстановлен в живых за отсутствие состава. Я, говорит, разбился, быть или не быть, и я всю жизнь любил втроём одну женщину, а водку ни за что. В Москве теперь памятник, выше всех писателей, облако в штанах, а живого нигде нету, хотя цыганка нагадала 76 лет без одной седой морщины. Осталось сказать про евреев. Есть, конечно, генеральская линия, но сами виноваты. Сталина отравили по делу врачей культа личности, а он им плохого не высказал, сам грузин с диких скал осетина. Нам приходилось достаточней хуже, но мы терпели, как до отмены Бога и Святого Духа, и посмертно вздохнули невинный период, так что евреям большое русское спасибо, но только проживающим в нашей стране, хотя противные бывают рожи, но не все.

Э Х О

литературный журнал

4

ПАРИЖ

1978

I

Я не выдержал и решил появиться в моём личном творчестве. Никто не может мне этого запретить, да, не может.

Письменность стала чистейший обман. Она пытается скрыть, что она письменность, что её, значит, пишут. Она притворяется действием, она хочет впрыгнуть в нашу голову сама собой, через глаз, и там притаиться картинкой из памяти. Письменность прячет в карман свою буквенность и выдвигает наперёд свою строчность. Строчность роднит её с телевизором. Каждый роман спит и видит себя на экране. Кто теперь читает буквы, кто видит слова, кто наслаждается их управлением? Все глотают страницы, пожирают абзацы и уже на кончиках ресниц превращают их в кадры.

Кина не будет, мои дорогие друзья!

Придя домой, письмо было получено. Придя домой, письмо быть полученным очень старалось. Оно хотело быть получено мной от меня самого, письменное этакое письмо, в небольшом письменном виде.

Придя домой, письмо получено не было.

Несколько минут находился во власти молчания.

Вдруг неожиданно в воздухе почувствовалось смутное беспокойство. Посмотрев в зеркало, я увидел в зеркале отражение своего вопросительного лица. На лице отражался вопрос моей жизни.

- Вот здорово! - вырвалось у меня восклицание.

Запустив руку под шляпу, я зачесал свой затылок. Это была моя привычка - чесать свой затылок, когда у меня возникал вопрос и когда ответ бывал затруднителен.

А вопрос возникал такой: как надо писать, как писать дальше. Запустив руку под шляпу, которой у меня нет - то есть шляпы, а рука пока что есть, пока что мне приветливо её не оттяпали, я зачесал, как вы знаете, верхний затылок. Это была моя привычка, и я чесал свою привычку три года без малого. В привычке редили волосы и стирались грани между умственным трудом и физическим городом и деревней. Изредка я вынимал мою руку из привычки, чтобы начертить безмятежные рецепты для младшего возраста от всея педагогики нашей страны, чтоб вложить за экран героический дух, расписаться на ордере или повестке. Потом я взялся за перо двумя руками, чтобы продолжать делать письменность. Я взялся

руками, но тут вышел стоп.

Тот, чьи буквы не влазят в печатный станок (а это так, что же делать, они у нас какие-то такие не такие), тот привык орудовать тем более пером. Я изучил перо насквозь, я знал его нажимы, росчерки, тёмные кляксы и блестящие стороны, зовущие впредь. Я знал, когда оно будет царапать бумагу, и я миновал, чтоб царапать бумагу. Когда же оно разгонялось от гладкости — от гладкости кончались чернила в пере.

Но теперь повсеместно перо переделалось. Оно перестало быть чернильным, заострённым, оно в каждой третьей держащей руке заменилось на шарик. А шарик — известное дело — он круглый. Он не стоит, а стойкость дело нужное в деле пера. И вообще, в нём есть что-то собачье, он сучьей породы, тогда как в прежнем пере было слышно крыло.

Приходилось заново учить круглый шарик, не умея нажима, чтоб нормально писать безо всяких кино.

Я начал, и шарик покотился псу под хвост:

"От топота ног стоял шум и летела пыль..."

Какой шум? Зачем летела? Ах, я хотел что-то такое, что-то эдакое! чтобы мысль летела. Я не хотел полёта пыли, так как не было топота, не было ног; не было ног — не стоял шум, шум не стоял — не летела и пыль, которая летает от действия шума, вернее, действия топота, а точнее — ноги. Всё наврал проклятый шарик. Писать надо было не так.

Писать надо так, чтоб в квартире было тесно, а мыслям просторно. Писать надо так, чтобы слов было мало, а листов было много. Писать надо экономически. Один писатель советовал мне писать просто: взошло солнце, и запели птички. Он так просто и писал, хорошо писал, жаль, что несколько повредился в уме.

Я затопил печку. В печке царила атмосфера взаимности. Я оглянулся. Жизнь проходила в обстановке причинности. Я сел за стол и писал и глядел на себя, на письменного, в малое зеркальце. В зеркальце я отражался, что пишу и гляжу в зеркальце. Везде у меня отражался вопрос. Ответ не отражался нигде. Писать надо так, писал я, глядя в зеркальце, чтобы вопросам было тесно, а ответам не было мучительно больно. Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать. Но хорошо писать бы так, чтобы не очень навсегда пострадать и вернуться.

Писать надо так — но писать надо не так.

Кто диктовал мне, письменному, кто диктовал мне из малого зеркальца? Литература желает стусить следы пребывания на земле человека. Она рвётся дать путеводитель по вселенной — от Москвы до искривления мира и взад. На том её и ловят, родимую, на том и улавливают. Она старается усилить значение каждого шага, — а шаг наш значения имеет немного: не более метра в длину по земле. Она соединяет вчерашний обед и сегодняшний грех на соседних абзацах — и меж них не пролагает расстояния духа. На том её и ловят и тащат в своё мозговое кино, ибо это кино есть защита от духа.

С полным весельем я заявляю: кина не будет, мои дорогие советские друзья! Кина — которого я очень люблю, и друзья, — про которых я рад, чтоб читали меня повсеместно внутри рубежей; но меня повсеместно никак, не получится, ведь станок гутенбергов, как заметил поэт, для нас для всех не годится, а других не дозволено.

Кина не будет, будет слово, как всегда было слово — и это просто даже несколько странно, что забывают. Сперва было слово, а после его написали — ведь так? Писать надо просто, вынимая слова из алфавита, которые все уже есть до единого.

Писать надо так, чтобы сразу написал и, тёпленькое, едва успев запятые, сдал в историю. Писать всего полезнее вообще на скрижaliaх. Скрижали выдаются в литфонде, по два кило в месяц на душу писателей. Души, конечно, сверху не видать и даже алгеброй — если разъять — не поверить. Но у каждой души из души растёт нос, как известно у Гоголя. Так что чаще принимают, для удобства статистики: мол, по два кило на нос, за умеренный рубль. В общей продаже скрижали отсутствуют: либо слишком толстые, а то просто дрянь, папиросные и вообще неформат. На таких в историю не войдёшь.

Правда, писать на скрижaliaх не просто. У них, проклятых, качество — видимо, финские: что написано пером, того не вырубишь топором. Но всё равно, поворачивать поздно, вхожу в историю. Цветы, кругом цветы — тридцать пять тыщ одних цветов.

Цветы — это дети нашей жизни, они приходят к нам пахнуть.

На одном конце города есть Гулярная улица. По ней гулял Николай Васильевич в своей критической шинели, из которой все вышли, но в которуюходишь, озираясь, как в дом. На другом конце, напротив, есть Трамвайный проспект. По нём никто не гулял, по нём никто и трамваем не ездил — там трамвая не сделано. Но везде, куда ни кинешь взглядом, на нём видны следы прогрессивного человечества. "Идя в наш кинотеатр с цветами, вы можете оставить их у администратора, который поставит букет в вазу с водой и вручит его вам после сеанса ничуть не увядшим." Какая огромная, какая наша, какая забота о человеке! — Правда, самого прогрессивного не видать, одни следы. Они ведут в будущее. Будущее начинается сегодня. Завтра оно уже будет, оно грядёт к завтраку. Всё человечество обожает кушать завтрак. От хлеба пахнет сытностью, от масла оптимизмом. Это аромат грядущего. Тоска от лука, съеденного на ночь, после завтрака переваривается, не доходя до автобуса. В автобусе все везут завтрак на рабочее место, даже два — так повелось среди класса трудящихся: один, поменьше, в животе, безмянно, а другой, большой, под мышкой, на виду, напоказ.

Особенно вёз завтрак один пассажир. Он весь обчитал его за время дороги. Следы времени с обёртки перешли на лицо. Рот у него был закован в железные зубы, а лицо было особое лицо государственной важности. Чтобы завести себе такое лицо на лице, надо многие лета занимать себя чем-то вверху, у кормила — чем они там занимаются? Но как потом снова дойти, чтобы ездить автобусом, вот что неясно. После бритья он освежал себя какой-то туалетной водой парфюмерной торговли, от которой несло сыростью, мокрицами, глубоким духом влажного мороженого мяса. Хватит терпеть насмешек и пренебрежения, — говорил этот запах с оттенком угрозы. Хватит терпеть, пора назад к кормилу.

В природе была погода.

Висел плакат: "Хороший человек украшает природу". Я оглянулся. Украшая, он шагал. Он шагал через улицу, не считаясь с опасностью, не страшась усталости. Все остальные труслились усталости, кроме него, хорошего человека.

Уставя пальцем в живот, жена удерживала пьяного на тротуаре от падения. Обмякнув, он качался на этом жёстком, ненавистном, указующем пальце, как привязанный, напрягаясь, чтобы оторваться

и грудью упасть на мягкую, привычную землю, чтоб украсить собою природу — и не мог.

У памятника, приданного площади в награду за историю, как раз сегодня был день рождения. К нему пришли поговорить о своих делах пионеры. Памятник слушал их медным лицом, напряжённо, и всё указывал вперёд, всё вперёд, на газетные стенды.

В газете были две печатные статьи, обращённые руководством к самому себе с укоризной: "Работать на виду у масс" и "Быть человеком". На виду у масс человеком работал лишь памятник. Это было его загробное поручение.

Бежала женщина, у которой свои законы. Подберёт на себя всё красиво, всё в тон: сумочку, туфли, перчатки, чулочки, — а сама торчит из них, другая-другая. Она торчит, дожидается, пока её вынут, как семечко. Вынуть трудно, но можно, надо только уметь. Я притворился, что влюблён, вы притворились, что стыдливы, как сказал поэт. В общем, можно.

Памятник грустно загребал рукой к женщине, словно собирался доплыть к ней по воздуху, но потом передумал. Он хотел равную, медную бабу со стажем. Хотел отгрохать с ней набат на всю ноченьку. Памятник помнил: ему обещали. Ложись на горы алтайские, берись за колокола китайские — или как там записано в решениях съезда?

Вышло вечером слабое солнце, и жить стало лучше, жить стало светлее.

На руке у постового показалась наколка. Она звала к диалектике. По ней было видно, что он из преступных переквалифицировался в квартальные. И это есть отрицание отрица яя, это смерть зерна и жизнь зерна сразу. В общем, хлебное дело. Надо рассказать об этом зерну.

Военнослужащие и дети их семейств гуляли по бульвару, заходили в зоопарк. Звери развлекались от своей трудной жизни, наблюдая старших, сознательных братьев и дрессируя их назад в духе прошлого. Звери знали: идёт взаимная жизнь, скоро ужин. Люди смотрели свысока: они открыли дверь в будущее. Они молчали, что открыли её ногой.

У входа в зоопарк лежат опилки с дезинфекцией для нашей ноги, чтобы демократия с зоологией не могли перепутаться. Входя, оставляли болезнь на опилках. Отряхали зверинные инстинкты, возвращаясь обратно. Отирали след свершений с гражданской походки,

направленной в сердце животного мира.

Зоопарк готовится к юбилею. Состоится большое народное гулянье на тему: сто лет в клетке. Подумать только, какой срок! Ни бык, ни лев и ни орёл — да что там говорить! — даже революция не принесла им избавленья. Они должны свершить её сами, свою, звериную революцию — но не желают.

Лучше жить стоя, чем умереть на коленях. Сидя жить лучше, а ещё лучше лечь. И это будет пассивное сопротивление. В дружном порыве лежал зоопарк. Он глядел на меня — и не видел меня: я был в письменном виде. В письменном, роскошном по сравнению с жизнью, без пота, без пуза, без дыха, без храпа, без того напряжения в причинных местах, что мешает видеть дальше, чем собственный так называемый нос. Я был в белой рубашке, хрустящей, как рубль — трудовой сберегательный рубль из сберкассы, вложенный мятым, возвращённый обновлённым, что и составляет государственный процент благодарности. Но меня в этом письменном виде заметить нельзя: отражаю сознание. Я же, сам, могу выглядывать что захочу — на уровне письменности, знаете ли, многое виднее.

4

Вот, например, прорвалось: ни бык, ни лев и ни орёл — и это совершенно не напрасно прорвалось.

Это пишется полной заменой по животному Брему известного пения, когда все встают. Ибо, во-первых, бык прекрасно замещает тут, кого замещает. То есть не то чтобы бык это Бог, несмотря на фамильность, в одной только букве, а вторая разнится случайно на письме. Это лишь в могучем и великом языке, но в британцах, возьмите, — то созвучность намного другая: "Тод" — "дог", то есть с кобелём, прости меня, Всеблагий; впрочем, зверь тоже ярый, когда он восхочет (или как там пишут по Донам — если вскочет? если не захочет, то не вскочит? — надо бы спросить того, в станице, где он требует полезно не пускать других к перьям, чтобы не могли разобрать в сучьих тонкостях вместо него). Но если вспять повернуть, в гордый Рим, то и снова появляется животное бык, на пяти своих ногах в латинской фразе, где ему дозволено менее бога, — то есть для божественной пятой ноги всё открыто, не то что для бычачьей. Конечно, бог это был ненастоящий, нестоящий; млекопитающий, можно сказать, это был всего бог.

Но и в данном, освободительном случае мира, довольно, право, такого, малого, вождя по жмыху и жвачке, приравненного к бычьему классу трудящихся — на одной трудились ниве, молочные братья.

А лев — он царь, он безусловный равноценный перенос туда отсюда, по всем легендам и басням обоих народов: нашего, демократического, и, значит, их, ветеринарного, или как его там. Ибо не только у людей говорят про льва царь, но и соответственно в баснях звериных крылопов, ежели хотят сказать: верховный подлый лев — но боятся, то и намекают через нас, что, мол, вся самодержец или секретарь эпидемии всего человечества. Басни ходят сквозь опилки, не страшась дезинфекций.

Последнее же ясно и в ясности просто. Орёл — то есть в нашем вставаньи герой. Они летают в хищном небе государственным летом и садятся на свои плодородные яйца исключительно в горных районах страны.

5

Вы просите песен? Их есть у меня — как сообщала в романсе семиструнная бабушка. Не пора ли засесть за письменный стол? Роман о более бережливом отношении к видам дубов. Основные мотивы романа: лес, подлесок, чапыга, болото. В лесах развелась живописность: воронко, кречет, кочет.

К письменному столу надо в очередь, как в бакалею: "Я отойду на полминуты, а вы скажите, чтоб меня не возражали".

Писать надо так, чтобы писать.

Писать надо письменно — и немного печатно.

Книга начинается, здравствуйте: фальц; книга продолжается, пожалуйста — шмуц. Я абсолютный противник сторонников.

Нет, я не прошу свободу слова — мне, напротив, не надо, кроме того, у меня уже, кажется, есть. Но я бы хотел, вместо этого, хотя свободу буквы. Это сугубо специальный вопрос, не все знают: на письме нужна буква. Букв становится всё меньше. Не говорю про опасную ижицу или фиту, нет, таких надо было убрать, они мешали лучшей жизни, но вот, обратите внимание: Ё. Очень перспективная буква, много лучше доносит. Открой любую книгу — её уже нет, то есть она в скрытом виде, в подтексте. Конечно, там ей гораздо свободней чувствовать, и даже большой

артистизм догадаться. Но я просил бы для себя эту скромную букву — даже согласен, чтоб вместо аванса. За что лишили нас её? Конечно, это экономически, всё надо экономически. Я понимаю, гутенберг должен вращаться с максимальной точки зрения — но машинка? В моей машинке я напрасно ищу десять лет букву Ё. Не хватает, чтоб её не оказалось и в ручке, а это просто, возьмут и вынут на заводе, им что. Могут даже вынуть из мясной твоей руки при рождении в жизнь, и тогда уже обратно не вставишь никакой эволюцией.

А всего-то незаметно приставить две точки — и она возвращается. Точки, поставленные над ё — сколько смысла! При помощи точки мы вернём свободу буквы, а возможно, и слова, которая, правда, у нас уже есть. Например, многоточие — что за возможность! Заменяет какие угодно слова.

В этом отношении шарик полезен: он умеет ставить точку.

Шарик, шарик! Ко мне!

Слушается.

"В природе была погода". Ничего лучше этого я не писал. Какая простота! Какая сочность! Это ещё ждёт своих исследователей. И главное, заметьте: написано шариком.

6

Точка. Много точек. Нет, не торопись стяжать дары печатности. Живородящий гений, знаете, ничем не удержать.

1970-75



Михаил Талалай К БЕЛОМУ ОЗЕРУ

...Расстояние, отделявшее московский трон от Сергиева монастыря (около 70 вёрст), очевидно, оказалось недостаточным для сохранения гармоничного равновесия, и духовным преемником Сергия становится не Никон, сменивший его на посту игумена, а его ученик Кирилл, бережно унесший заветы св.Сергия на Север, к Белому озеру.

Этот путь был предопределён самим Сергием, давшим России духовный щит, которым она заслонила свой Север, в то время как её Запад был заперт Литвой, а Восток — татарами.

Северную дорогу от Москвы проложили прямые наследники Сергия — его братья во главе со св.Никоном, спасавшаяся от татарского хана Едигея, который в 1408 г., через 16 лет после смерти радонежского святого, нанёс жестокий удар по Москве. Когда хан ушёл, монахи вернулись на иг — но, быть может, в душах некоторых запечатлелся тихий и сосредоточенный пейзаж. К тому же книги и иконы, которых касалась рука Сергия, впервые побывали в этих краях.

В XIV веке Белое озеро уже было колонизовано русскими, в основном — деятельными выходцами из Новгорода, которые принесли язычникам-аборигенам "прелести" цивилизации и торговли, но, похоже, мало заботились о проповеди Евангелия.

Предание сохранило память о предшественнике Кирилла — киевлянине Герасиме, в XII веке первым показавшем здесь пример христианской аскезы. Божий глас повёл его на Север, в Вологду, где он срубил хижину и церковь, посвятив её Святой Троице, — это же посвящение носила надвратная церковь Киево-Печерского монастыря. Аборигены, "чужд белоглазая", и новгородцы неприязненно встретили монаха — новый образ



25 сентября /8 октября/ —
Преставление прп. Сергия,
игум. Радонежского, всел.
России чудотворца /1392/

17 /30/ ноября —
Прп. Никона, игумена Радонежского,
ученика прп. Сергия /1426/

Из книги "Паломничество на Север" (русские святые и подвижники).

христианина-аскета был им непонятен. Хотя св.Герасим связал в религиозном сознании Киев, колыбель русского православия, и русский Север, - учеников и вообще заметного следа он не оставил. В XII веке жатвы было ещё слишком много, а "делателей - слишком мало".

Жатва поспела к XIV веку, а "делатели" пришли вслед за св.Кириллом.

Есть некая сокровенная значимость в том, что жизнь Кирилла (он прожил 90 лет) разделена на три законченных периода, каждый из которых длился 30 лет.

Первые 30 лет Кирилл был Кузьмой. Совсем юным он потерял родителей и был взят к своим родственникам "в услужение". Быть может, это зависимое, сиротское состояние определило склонность Кирилла к недовольству миром: он тайно молился о монашестве. Эти молитвы были услышаны: св.Стефан, игумен монастыря в Махре (и близкий друг Сергия), разглядев религиозный дар молодого человека, постриг Кузьму в монахи прямо в его комнате. Возвестив о том, что вместо Кузьмы теперь есть монах Кирилл, Стефан вызвал сильный гнев родственников, которым дармовой работник, очевидно, был просто выгоден.

Но было поздно. Кирилл сбрасывает с себя бремя "ветхого человека" и уходит в московский Симонов монастырь, где настоятелем был св.Феодор, племянник Сергия, и где всё было проникнуто "радонежским" духом. Свою радость (и свой дар) Кирилл пытается скрыть, причём весьма своеобразным образом - прикидываясь дураком, протествуя. Феодор, возмущённый этими дурачествами, сажает Кирилла на хлеб и воду - Кирилл рад ещё более: теперь он постится не по своей воле. Впоследствии игумен разгадал эту уловку и определил Кирилла на тяжёлую работу в пекарню, но тот рад любым испытаниям и приговаривает: "Терпи этот огонь, Кирилл, - тогда избежишь огня вечного".

Самыми важными для его духовного становления были встречи с самим Сергием, который, навещая монастырь племянника, на удивление всей братии часами уединяется с Кириллом в его пекарне. Кирилл даже внешне начинает подражать учителю: зимой и летом он носит одну и ту же "худую" одежду.

Его авторитет растёт: после отъезда Феодора в Ростов именно он выбран братией

4 /17/ марта -
Прп. Герасима Вологодского /1178/

9 /22/ июня -
Прп. Кирилла,
игум. Белоозерского /1127/



14 /27/ июля -
Прп. Стефана Махрицкого /1406/

28 ноября /11 декабря/ -
Свт. Феодора, архиеп. Ростовского /1394/

новым настоятелем. Пережив смерть Сергия, Кирилл, которому близится шестьдесят лет, решает, несмотря на возраст, навсегда оставить родной монастырь.

Перед уходом, во время чтения Акафиста Божьей Матери, Кириллу явилась Богородица, указавшая ему на Белое озеро: "Там ты спасёшься". Когда Кирилл выглянул из окна кельи, то увидел столп света, стоявший далеко на Севере. От радости Кирилл проплакал всю ночь и рано утром ушёл из Москвы. С ним был спутник — его друг Ферапонт, который уже бывал у Белого озера. С собой монахи взяли лишь книги и икону Богородицы. О видении Богородицы Кирилл Ферапонту не сказал.

Этот уход был из тех, когда можно сказать: "Иду от вас и приду к вам" — через года слава Кирилла придёт обратно в Москву.

А пока перед Кириллом и Ферапонтом — 700 вёрст пути через густые и дикие леса до горы Мауры. С неё монахам открывается спокойный и строгий пейзаж: невысокие холмы, озёра. Кирилл встаёт на камень (он до сих пор лежит на Мауре, и если пристально взглянуть, то можно увидеть след ноги) и восклицает: "Вот мой мир!".

Монахи спускаются с горы, водружают крест (он стоит до сих пор, "похуевший" от попелуев паломников), сооружают себе пещеру, но вскоре Кирилл остаётся совсем один, как некогда Сергий. Ферапонту выбранное место кажется "узким и тесным", и он в 16 верстах от Кирилла устраивает собственную пустынь.

Но Кириллу не приходится долго жить одному — вскоре его разыскивают два других монаха Симонова монастыря. Местные жители с удивлением обнаруживают отшельников: оказывается, ещё до появления монахов они слышали в этих местах колокольный звон. Первую монастырскую церковь Кирилл, конечно, посвящает Богородице (Успению).

Так в 1397 году возникает Кирилло-Белозерский монастырь, со временем ставший вторым по величине русским монастырем (после Троице-Сергиевой лавры).

Кирилл вводит устав, похожий на Сергиев, но, быть может, строже. Во время церковной службы никто не имеет права беседовать — только молиться. После трапезы монахи должны молча расходиться по кельям. Имущества иметь не полагается (дозволяется лишь

Всходы 2.

Забранной коведкѣ повѣдѣтельна, ѡкъ
избавлѣша ѿ злыхъ, вѣгодѣтельна восписъ
емъ ти равнѣ твоѣ, вѣце: но ѡкъ имѣла дер
жавѣ неповѣдимю, ѿ великихъ насъ бѣдъ сво
бодѣ, да зовѣмъ ти: радѣса невѣсто мене
бѣстна.

Всходы 3.

Утѣрнее рѣтко видѣши, вѣстранѣса мѣра,
оумъ на нѣса преложне: сегю бо радѣ высокѣи бѣхъ
на землѣ ѡкъса смѣрѣнный чѣвѣкѣ, хотѣи
приклетѣи къ высотѣ, томѣ копѣцѣна: ѡланѣта.

Всходы 4.

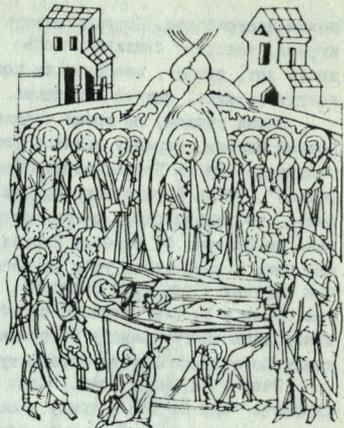
Утѣна сѣи дѣвкамъ, вѣде дѣо, ѡ великѣ къ
чѣвѣ прибѣгающѣна: ѡбо нѣсе ѡ землѣ чкорецѣхъ
вѣстрѣн чѣл прѣчѣта, велѣса бо вѣтрѣвѣ чкѣсѣ,
ѡ велѣ приглашѣти тѣвѣ нащѣна: радѣса, стѣлапе
дѣбѣта: радѣса, двѣрѣ спѣсѣна, радѣса, начѣлѣнице
мыслѣннагѣ наздѣна: радѣса, подѣлѣельнице вѣжѣ
ствѣннаа вѣгѣсѣ. радѣса, ты бо шѣновѣла сѣи
зачѣтѣла стѣданѣ: радѣса, ты бо наказѣла сѣи
вѣкѣрѣдѣннаа оумѣна, радѣса, плѣтѣла смѣслѣвѣ
вѣпражѣдѣющѣна: радѣса, сѣчѣтѣла чѣстѣтѣи рѣжѣ
шаа, радѣса, чѣртѣже безѣчѣлѣннагѣ вѣневѣше
нѣа: радѣса, вѣкрѣнѣхъ гѣдѣн сочѣтѣвшѣа, радѣса,
дѣбраа маадѣпѣтѣельнице дѣвкамъ: радѣса невѣ
стокарѣельнице дѣшѣхъ стѣлѣхъ. радѣса невѣсто
ненѣбѣстна.

книги и иконы) — в келье нельзя держать даже воду, если мучит жажда — сходи в общую трапезную. (Мёд и вино запрещены.) Как и у Сергия, все душевные движения надо открывать настоятелю, и даже письма и подарки можно получать только через руки Кирилла. Несмотря на эту внешнюю строгость, в обители преобладал дух радостной любви.

Кирилл первым показывал пример кротости и смирения. Так один из крестьян, недовольный появлением монахов, пытается сжечь их постройку. Кирилл, застигнув его, не наказывает, а с любовью прощает — крестьянин, потрясённый подобным отношением, впоследствии сам становится монахом. Другой эпизод связан с учеником, который

ненавидел Кирилла. Проницательный игумен замечал недоброе чувства и обратился к монаху с такими словами: "Не скорби, брат мой, все ошибаются во мне, лишь ты один знаешь правду о моём недостойнстве, ты прав — я непотребный грешник", чем тронул монаха до "слёз любви". Кирилл сам обладает даром радостных слёз: он плачет во время литургии, плачет, "вкусая пищу". Чудеса, совершенные Кириллом, имеют явно евангельский характер: умножение хлебов, спасение рыбаков, хождение по воде "аки по суху". Евангельская простота сочетается в нём с книжной учёностью: перу Кирилла принадлежат не только богословские статьи, но и статьи о "земном устройении и облаках", один из первых в России медицинских трактатов (о кровопускании), размышления о стрижке волос в соответствии с лунным календарём. Самое распространённое послушание в его обители — переписка книг: монастырская библиотека быстро становится одной из самых богатых в России (особенными трудами в этой области прославился Игнатий Молчальник, пришедший к Кириллу из Сергиева монастыря). Одна из самых ценных в монастыре книг — "Лествица", написанная игуменом Синайского монастыря св.Иоанном Лествичником, в которой 30 лет жизни Христа уподоблялись 30 ступеням восхождения к совершенству и где раскрывались добродетели, явно дорогие Кириллу: "послушание, радостнотворный плач, безгневие, кротость, безмолвие, нестяжание".

Глубоко символичен грандиозный ансамбль Кириллова монастыря, походивший на каменный иконостас, где линия север-юг пред-



ставляет духовное восхождение, начиная с надвратной церкви св.Иоанна Лествичника, через собор Успения Богородицы — к церкви Преображения Христова. Линия восток-запад, также проходящая через Успенский собор, посвящена святым, ходатайствующим перед Богородицей о помиловании рода человеческого — деисус: св.князь Владимир Креститель, св. Кирилл Белозерский, св.Евфимий Великий (покровитель больных), св.Епифаний Кипрский (поборник чистоты православия).

Но это великолепие и богатство появляется не сразу. Кирилл проводит демонстративную "нестяжательную" линию, отказываясь от подарков, в том числе от деревень и сёл, сопровождая отказы словами о несовместимости владения сёлами со свободой от мирских забот. (После смерти Кирилла монахи эти сёла берут.)

Но, как и в случае с Сергием, эта линия повышает авторитет Кирилла, и, находясь в 700 верстах от Москвы, он способен оказывать на неё политическое влияние (об этом влияния традиционно умалчивают его жития). Он переписывается со всеми тремя сыновьями великого князя Дмитрия Донского, наставляет их, советует. Князя Василия он призывает примириться с Суздальским княжеством. Особое внимание он уделяет своему духовному сыну князю Андрею, для которого составляет целые социальные программы. В своём последнем письме к Андрею он пишет о том, что стал стар, впадает в различные болезни, но "это есть человеколюбие Бога к нему", так как он понял, что ничто другое "не возвещается, кроме смерти и страшного суда Спасова в будущем веке".

Так закончились 30 лет у Белого озера. За несколько дней перед смертью Кирилл так ослаб, что его на руках носят в церковь. В последние дни он замолчал, предварительно попросившись с учениками.

С веками Кириллов монастырь повторил историю Сергиева (может быть, монастыри были так "запрограммированы" в принципе?). Он приобрёл множество деревень, сёл, земель, право беспошлинной торговли от Чёрного до Белого моря и к вершине своего могущества имел 20 тысяч крестьян. Это возвышение приводит к символичному и прискорбному факту: однажды Кириллов и Сергиев монастыри вступают в судебную тяжбу из-за спорных земель.

Монастырь быстро вовлекается в полити-



Кондак г.

Ѣ всецѣла мѣти, рождала всеѣхъ стѣхъ стѣйшее слово, нынѣшнее прїемши приношенїе, ѿ всакихъ извѣки напѣсти всеѣхъ, и извѣстїа извѣи мѣки, твѣе колїчїиныхъ: Панагїа.



15 /28/ июля -

Равноап. вел. кн. Владимира,
во святом крещении Василия /1015/

20 января /2 февраля/ -

Прп. Евфимия Великого /473/

12 /25/ мая -

Свт. Епифания, еп. Кипрского /403/

ческую жизнь России. Иван Грозный считает, что обязан своим появлением на свет св. Кириллу - его родители ездили сюда молить о сыне, а по рождении Ивана выстроили здесь две церкви: в честь его небесного покровителя Иоанна Предтечи и в честь Константина и Елены Равноапостольных. Грозный выражает своё "внимание" к монастырю и тем, что ссылает сюда опасных бояр. Он сам заканчивает свой жизненный путь монахом Кириллова монастыря, по старой традиции приняв перед смертью монашеский постриг и попросив прощения у "братьев".

Как и Сергиев монастырь, эта обитель сыграла в начале XVII века важную оборонительную роль, отбивая атаки западных соседей. Именно шведская угроза заставила предпринять здесь в середине XVII века грандиозное крепостное строительство, продолжавшееся 30 лет, но так и не пригодившееся. Как и на Троице-Сергиеву лавру, на монастырь обрушился революционный удар, в 1930-х его хотели разобрать на строительный материал. Теперь в опустевшем монастыре музей, но в потоке туристов-отпускников встречаются и паломники, привлечённые славой Кирилла. Они тайком приходят к гробнице святого, где часто стоят цветы, которые удивительно долго не вянут. А некоторым удаётся увидеть свет из окон закрытого храма. И звучат слова: "Соблуди своими молитвами, как чадолюбивый отец, не забудь и всех приходящих к честному гробу твоему и чтущих многорадостную твою память".

Ну а что же Ферапонт и его обитель? Со временем она прославлена, как и Кириллова, но - по-другому. Говорят, что разительное несходство двух монастырей есть результат несходства характеров их основателей. Внутренне радостный, но внешне строгий Кирилл соответствует суровому облику его обители, а более чувствительный к красоте мира Ферапонт вызвал к жизни возвышенный, лёгкий архитектурный силуэт. На горе Мауре они стояли вместе, но каждый увидел разные перспективы. И св. Ферапонт нашёл самый светлый и праздничный пейзаж: небольшие озёра заключены мягкими объятиями пологих холмов.

Его место, "просстранное и гладкое", отстоит на 16 верст от Кириллова - полдня спокойной, неторопливой дороги, с тем чтобы потом отдохнуть и помолиться. Здесь Ферапонт ставит церковь и посвящает её Богородице, но не Успению, а Рождеству Её!

27 мая /9 июня/ -
Прп. Ферапонта Гелозерского,
Позднейского /1426/

Ферапонт — выходец из аристократического рода — ещё юношей тайно бежит из родного дома в тот же Симонов монастырь, где его, как и Кирилла, выделяет Сергей Радонежский. Земной путь двух монахов, ушедших к Белому озеру, закончился почти одновременно: Ферапонт умер в 1426 году, Кирилл — в 1427.

Закончился он, правда, в разных местах: Кирилл так и не оставил избранного им (и Богоматерью) Белозерья, а Ферапонт вернулся под Москву, в Можайск, уступив просьбам князя Андрея, — там Ферапонт основал ещё один монастырь и тоже посвятил его главный храм Богородице. У Белого озера Ферапонт провёл десять лет; положив в основание монашеской жизни главный принцип — трудолюбие. По уставу, взятому у Кирилла, монахи не имели личной собственности, а "для пропитания" рубили лес или занимались рукоделием. Своим расцветом монастырь обязан преемнику Ферапонта, св.Мартиниану. Его совсем юным родители, местные крестьяне, приводят к Кириллу. После смерти учителя Мартиниан уходит безмолвствовать в лес, но ферапонтовские монахи, зная и любившие Мартиниана, упрашивают его возглавить монастырь. Мартиниан умело ведёт монастырское хозяйство, он принимает сёла, от которых прежде отказывался Ферапонт. Вскоре бывший крестьянин становится духовником великого князя Василия Второго. Мартиниан даже помогает князю в его борьбе за московский престол: снимает с него "крестное целование", клятву в отказе от притязаний на власть. Вместе с тем он сохраняет независимость от Москвы и позволяет себе иногда резко критиковать князя: когда, например, Василий Второй обманом захватил боярина-изменника, Мартиниан заставил его отпустить пленного. Мартиниан под старость решает умереть у гробницы Сергея Радонежского, но он слишком привязан к родному Северу и возвращается в Ферапонтов монастырь.

Со временем этот монастырь прославится восхитительными фресками Дионисия. Звонкие, светлые, лёгкие и глубокие краски, прославляющие Богородицу, не случайно появились именно здесь, а не в соседнем Кирилловом монастыре.

Окрестности Белого озера с лёгкой руки паломника прошлого века А.Н.Муравьева стали звать "русской Сибиаидой" — здесь было так много примеров высокой святости, что места

12 /25/ январь -
Прп. Мартиниана Белозерского /1485/

эти стали сопоставимы с египетскими пустынями, прославленными подвигами первых христиан-монахов (русские пустыни были в лесах).

Эти края можно назвать и русской Палестиной (у Муравьёва встречается и такое сравнение). Кажется, что сам воздух, сама природа здесь напоена гармонией, светом, радостью, любовью, смирением, кротостью, тишиной. А быть может, 700 вёрст от столицы дадут равновесие духа и "мира".

Много имён в православную летопись вписано именно в этих местах.

Св.Дмитрий Прилуцкий был "собеседником", единомышленником Сергия, и "сергианская" линия явственно проступает в его жизни. О Дмитрии известно, что он был очень красив - его сравнивали с Иосифом Прекрасным. Святой опасался, что его физическая красота принесёт окружающим вред или смущение, и старался закрывать лицо монашеским куколем. Одна женщина, прослышав о его красоте, тайком подглядывает за Дмитрием, но - наказана за это болезнью. Дмитрий прощает "нечистоту её помыслов", осеняет крестным знаменем: женщина выздоравливает.

Дмитрий начал свой духовный путь близ Москвы, в Переяславле. Став игуменом монастыря, он скорбит, что слишком близок к "сильным землям" и уходит на Север, в лес, но встречен враждебно местными крестьянами. Отношения крестьян и монахов часто драматичны. Дмитрий безропотно уходит в город Вологду, где горожане дают ему участок земли "при луке", на изгибе реки (отсюда - Прилуцкий). Дмитрий бескорыстен: от пожертвований он отказывается, говоря, что "сперва надо наплатить вдов и сирот, а потом уж - монахов". Его братья недовольны таким поведением, и Дмитрию приходится увещавать: "Главное для монаха - довольствоваться тем, что есть, и хвалить Бога от чистого сердца". Дмитрий бережёт свои благодатные дары: в монастырском храме он сколачивает нечто вроде ящика, где укрывается во время молитвы. Так же скрывает, чтобы не "смущать" братьев, он иногда раздаёт милостыню из бедной монастырской казны. Но, как и Сергий, Дмитрий не уклоняется от политической жизни и всемерно поддерживает своего тѣзку, князя Дмитрия Донского. Он умирает в один год с Сергием, а Прилуцкий монастырь вскоре становится на традиционный путь, выполняя военные, торговые, политические функции - часто в ущерб

II /24/ февраля -
Прп. Дмитрия Прилуцкого,
Вологодского /1392/



КОНДАКЪ II.

Въ бѣнѣ вѣжкѣ побѣждѣется, спрострѣтисѣа чрѣ-
щесѣа ко множествѣ многѣхъ щедрѣхъ твоихъ:
равночѣсденныа ко пескѣ бѣснѣ шре принѣсѣннѣхъ
тѣ црѣю стѣнѣ, ничтѣже совершѣемѣхъ достѣоно,
иже длаѣхъ сѣи нѣмѣхъ, тебѣ копѣирымѣхъ: иланѣнѣа.

молитве. Город Вологда признаёт Дмитрия своим покровителем, патроном. "Посмертный" образ Дмитрия, при жизни обычно склонного к прощению, увещеванию, приобретает суровость: так один грабитель, покусившийся на гробницу святого, наказан смертью. Прилуцкий монастырь был лагерной территорией, музеем, теперь церковь пытается оживить его каменную оболочку.

И это — не самая худшая участь: другой знаменитый на Вологодчине монастырь, Спасо-Каменный, просто разобран "на кирпичи". А между тем это был самый древний монастырь в здешних местах, основанный в XIII веке князем Глебом, застигнутым бурей на Кубенском озере и спасённым волею Провидения на Каменном острове. Это место действительно необыкновенно: иноку Спасо-Каменного монастыря, св.Иоасафу, явился здесь сам Христос. Редко кто из русских святых удостоивался подобного видения — бывали случаи обратного рода: монаху Киево-Печерской лавры св.Исаакию Молчальнику привиделся Христос, но потом выяснилось, что Исаакия соблазняли бесы.

Иоасаф Каменский — фигура мистическая и загадочная, он умер почти мальчиком, в 17 лет. В миру Иоасаф — князь Андрей, внук великого князя Василия Второго. Мальчик, обладавший хрупким здоровьем, рано удалился от мира, отверг княжескую родню, отказался и от денег, предложив раздать их нищим. Когда Иоасафу явился Христос, он спросил: "Что мне делать?". Христос ответил: "Хранить любовь". На другой вопрос: "Как избежать сетей вражьи?" — был дан ответ: "Надо быть кротким и смиренным сердцем". Почти сразу после видения Иоасаф умирает, но успевает сказать своим братьям, что "Христос велел хранить любовь".

Из Спасо-Каменного монастыря выходит знаменитый на Севере св.Дионисий Глушицкий (по реке Глушица, где он основывает один из своих монастырей). Дионисий близко знаком с Кириллом и пишет с него проникновенный портрет-икону. Дионисий — большой любитель уединения. Основав свой первый монастырь с церковью св.Николая (это — один из первых примеров почитания святого, культ которого потом широко распространился на Севере), он вскоре оставляет своих учеников и один уходит в леса. Слава об его "пустынничестве" доходит до Москвы, и великий князь высылает святому иконы и плотников — как бы в ответ на это покровительство храм

10 /23/ сентября -
Прп. ин. Андрея, в иночестве
Иоасафа, Спасокубенского /1453/

14 /27/ февраля -
Прп. Исаакия, затворника Печерского,
в Ближних пещерах /ок. 1130/

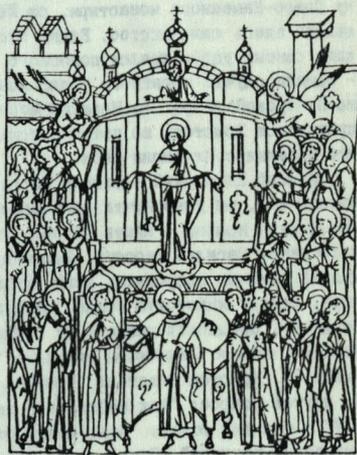
1 /14/ июня -
Прп. Дионисия, игумена
Глушицкого /1437/



посвящается Покрову Богородицы — по московской традиции. К Дионисию опять приходят ученики, он опять уходит и устраивает третий монастырь — теперь храм посвящается аскетичному Иоанну Предтече. Здесь Дионисий остаётся вплоть до кончины, сурово относясь к любопытствующим паломникам, особенно к женщинам. С тем чтобы они его не "садушали", Дионисий строит в двух верстах от своей обители гостиницу и церковь с наказом "не докучать монахам". За семь лет перед смертью он выкапывает свою могилу и в течение семи лет каждый день приходит к ней молиться. Дионисий отказывается от подарков, повторяя, что "монахам нужна молитва, а не золото" (правда, один раз он уступает, когда московский князь "слёзно" просит принять некий дар — "ради веры" князя). Своих учеников Дионисий учит "держать послушание", не иметь своей воли. Когда у одного из умерших монахов находят утаенные им деньги, Дионисий приказывает похоронить их вместе с телом ослушника. Потрясанным таким наказанием, братия вымаливает усопшему прощение — Дионисий выбрасывает проклятые деньги в реку. Лишь раз в предании облик святого озарён улыбкой — но это горькая улыбка: святому доносят о краже коней, он улыбаётся. Аскетический образ Дионисия настолько поразил русский Север, что, когда Кириллов монастырь празднует своё 500-летие, в нём высаживают три дерева: в честь Кирилла, Сергия и Дионисия. От этих деревьев начинается лесенка, ведущая к храмам во имя Сергия Радонежского с приделом Дионисия Глушицкого и во имя Усекновения честной главы Иоанна Предтечи с приделом Кирилла.

О самом известном ученике Дионисия св. Григория Пельшемском (по обители на реке Пельшма) говорилось, что у него была "одна воля" с Дионисием и то, что не успел сделать учитель, продолжал ученик. Григорий происходил из боярского рода. Рано лишившись родителей, он был в 15 лет насильно принужден к заключению брака, но успел сбегать из-под венца в один из московских монастырей. В монастыре он пользуется большой популярностью, но осознаёт, что слава мешает его духовному росту, и удаляется к Белому озеру, где находит Дионисия. Дионисий "воспитал ум и сердце" Григория в любви к отшельничеству: в результате ученик уходит в леса и устраивает собственную пустынь. По преданию, там, где он услышал звон колоко-

Возлюбый во египтѣ просвѣщеніе истинны, ѿгнавъ сѣи ажѣ тьмѣ: ѿдѣав бо егѣ, спсе, не терпѣльчѣ твоєѣ крѣпости, падѣша. снхъ же ѿзбѣавшійсѣ вопіаху къ бѣгѣ: Радѣйсѣ, ѿсправленіе челоувѣкъвѣ: радѣйсѣ, низпаденіе бѣсѣвъѣ. радѣйсѣ, прѣлести державѣ поправшаѣ: радѣйсѣ, ѿдѣавшійсѣ лѣсть ѿблнчнвшѣ. радѣйсѣ море, пото пѣвшее фараѣна мысленнаго: радѣйсѣ камени, напоившій жаждѣщѣмѣ жизни. радѣйсѣ огненный столпе, наставаляѣи свѣцѣѣ во тьмѣ: радѣйсѣ покрове мѣрѣ, ширшій обѣлка. радѣйсѣ пище, мѣнны прѣемнице: радѣйсѣ, сладости стѣѣлѣ салѣтѣльнице. радѣйсѣ землѣ ѿбѣтѣованіѣ: радѣйсѣ, ѿз неже чечѣтъ мѣдѣ ѿ мѣкѣ. Радѣйсѣ невѣсто неневѣстнаѣ.



30 сентября /13 октября/ —
Прп. Григория Пельшемского,
Вологодского Чудотворца /1442/



лов, он остановился и водрузил крест. Несмотря на отшельничество, Григорий успел оставить по себе славу помощника сиротам, защитника слабых и даже борца за справедливость: он резко обличал московского князя Дмитрия Шемяку, грабившего северные города. За это святой чуть не полатился жизнью: княжеские слуги до полусмерти избили Григория, но такое насилие над святым плохо кончилось для самого князя — он смертельно заболел, и лишь прощение Григория его вылечило. К своим похоронам Григорий отнёсся крайне пренебрежительно, завещав ученикам "затоптать грешное тело в болоте", но ученики хоронят Григория на самом почётном месте — с правой стороны от алтаря.

Ближайшим лесным соседом Григория был св. Павел Обнорский (по реке Обноре). Постриженник Сергиевого монастыря спустя сто лет со дня его основания, он уже не находит искому духовную пищу — его раздражает "празднословие" Троицких монахов. Смирение, пост, любовь — три любимых заповедей Павла. Придя в северный лес, Павел устраивается в двух верстах от Григория, но Григорию это расстояние кажется слишком малым для "серьёзного" отшельничества. Он просит Павла "отодвинуться", и тот с готовностью соглашается — "любовь не раздражается". Пищу Павел принимает лишь для поддержания жизни. Он ценит чистоту слов и помыслов, "внутренний подвиг", отречение от мирских забот, покаяние: "Да не приляпнут к уму земные вещи". Павел проповедует любой посильный труд, убеждая своих учеников, что Богу приятна даже самая малая работа: "Господь поддерживает и небольшой подвиг". Павел настолько отзывчив к просьбам паломников, что как-то раз его ученики рашают сами дать ему урок, подговорив одного крестьянина переодеться нищим и выманить у Павла деньги. Возвращая деньги, ученики разъяснили свой назидательный розыгрыш, но святой отказывается принять деньги назад, более того — отдаёт их обманщику обратно и говорит: "Господь велел быть милостивым и давать просящим и даже — непроящим: не побуждайте меня к немилосердию".

Духовную, созерцательную линию Сергия и Кирилла до совершенства довёл св. Нил Сорский.

Будучи монахом Кириллова монастыря, Нил, очевидно, уже не удовлетворён его уровнем духовности и покидает обитель, обустроившись, как и Ферапонт, в 16 верстах от

10 /23/ января -
Прп. Павла Комельского,
или Обнорского /1429/



Павел Обнорский, великий любитель безмолвия, именованный безмолвие матерью всех добродетелей, являет образец совершенного отшельника, редкого на Руси. Он целые годы жил в дупле дуба, и Сергий Нуромский, его сосед и тоже большой пустыннолюбец, нашёл его здесь в обществе медведя и других зверей кормящим птиц, которые сидели на его голове и плечах: этот один образ оправдывает имя Тиваиды, данное старым русским агиографом /А.Н. Муравьевым/ северному русскому подвижничеству. /Г.П. Федотов. Святые Древней Руси/

7 /20/ мая -
Прп. Нила Сорского /1508/

креста, поставленного Кириллом, но, в противоположность Ферапенту, находит безрадостный, "безводный и бесхолмный" пейзаж - пейзаж крайнего отречения. Его жилище ещё более "тесное и жёсткое", чем первая кириллова хижина. Здесь, на реке Сорке, Нил основывает первый русский скит - некий компромисс между полным отшельничеством и "общим житием". Основатель скита и пришедшие к нему (Нил их экзаменовал) селились вокруг общей церкви в отдельных хижинах. Хижины стояли друг от друга на таком расстоянии, чтобы можно было услышать громкий голос, но молитву - нельзя.

В отличие от большинства святых русского Севера, Нил оставил после себя значительное письменное наследие. Окружённый чахлыми деревьями и унылыми болотами, он пишет свои многочисленные послания и знаменитый впоследствии монастырский "Устав", излагая идеи нестяжательства, смирения, кротости и терпения. Эпиграфом к его учению можно было бы поставить евангельское: "Когда я послал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чём недостаток? Они отвечали: ни в чём" (Лука. 22.35).

Обычно учение Нила резко, драматично противопоставляют учению св.Иосифа Волоцкого, про которого можно сказать, что он дошёл до логического завершения "деятельную линию" Сергея Радонежского.

Эта противоположность Нила и Иосифа часто преувеличивается - их идейный конфликт во многом был развит уже позднее, их учениками.

Оба они - "наследники" Сергея. Оба прославлены Церковью как святые. У них общая цель - торжество христианства на Руси. Оба недоверливы существующим спустя век после смерти Сергея порядком.

Иосиф, в 20 лет став монахом, в 40 покидает Москву и странствует по Северу, где ему, кстати, особенно полюбился Кириллов монастырь (Нила он уже в это время не устраивает) В это же время он вынашивает свои идеи сильной, владетельной, могущественной Церкви. При этом он убеждён, что монахи должны быть личными "нестяжателями" и не иметь своей собственности. Другое дело - монастырь.

Вернувшись из северных странствий, он основывает в подмосковном Волоколамске свой монастырь, традиционно посвятив главный храм Богородице. Своими монахам Иосиф запре-

Егда по-
слухъ бы безъ клагланца и
безъ мѣха и безъ сапога, а
чегото лишени высте; Снѣ же
рѣша: ничевоже.

9 /22/ сентября -
Прп. Иосифа, игум. Волоцкого,
чудотворца /1515/

шал иметь даже книги и иконы — всё общее. (В старости, правда, он уже терпимее относится к личной собственности монахов.) Здесь, в Волоколамске, Иосиф вынашивает и пропагандирует свои идеи "сильной Церкви", причём вовсе не в угоду московской власти, а в пику ей, мечтая о теократическом государстве. История показала, что деятельная, политизированная Церковь вынуждена была вступить в союз с московским царём, и в "православном царстве" главный акцент пал всё-таки на царство, а потом уже на православие.

О судьбе Нила известно намного меньше, чем об Иосифе: он далёк от московской политической жизни. Но многое известно о его напряжённом, богатом внутреннем мире, в котором главенствовали смирение и любовь.

Он выступает, едва ли не единственный в русской истории, против церковных украшений, логично продолжая принципиальную "нестяжательную" линию. (Иосиф же пышно отделал свой монастырский храм.) Учителем Нил себя не считал ("Есть только один Учитель — Христос") и просил обращаться к нему "брат".

Нил проявляет широкую терпимость в вопросах чистоты православия, призывая максимально мягко отнестись к новгородской ереси, потрясшей в то время русскую Церковь (Иосиф предлагает смертную казнь.) Ученики Нила идут ещё дальше — укрывают в своём скиту белых еретиков. Нил продолжает северную традицию пренебрежительного отношения к своему телу и завещает выбросить свой труп в реку — но его, конечно, не слушаются и после смерти хоронят в монастырском храме.

Два крайних взгляда на образ монашеской жизни в результате всё-таки сталкиваются. Победа остаётся за идеями Иосифа. Московская власть не сразу научилась использовать "иосифлянство" и сперва даже поддерживала "нестяжателей", надеясь устранить таким образом политическую конкуренцию со стороны Церкви. К памяти Нила Сорского тепло относился Иван Грозный, который, кажется, тонко почувствовал своеобразие святого: он решил построить над гробницей Нила каменный храм, но затем оставил старый, деревянный, заявив, что ему во сне явился святой и запретил тщательное строительство. В XVII веке каменный храм всё-таки строят, но очень долго — стены не раз обваливаются.

Образ Нила Сорского с его широтой, терпимостью, высотой духа стал необычайно

КОНДАКЪ КЪ.

Х҃у
Благоудати дати восхощеъ, долговѣхъ дрѣвнихъ,
всѣхъ долговѣхъ рѣшителъ челоувѣкъмъ, прїиде
себѣ ко шшѣдшимъ тогѣ благодати, ѿ раз-
дрѣвъ рѣкопсанїе, слышитъ ѿ всѣхъ сице:
Илаиѣа.

притягательным для многих поколений православных людей, и поныне некоторые паломники пешком, молча преодолевают 16 вёрст от Кириллова монастыря до Нило-Сорской пустыни, где их ждёт неприятный сюрприз: психиатрическая больница, устроенная в монастырских стенах, и несчастные её обитатели, лишённые разума. Над могилой святого — больничная кухня.

Многие северные святые находились под сильным влиянием Нила, в особенности — плеяда "комельских" святых, спасавшихся в огромном Комельском лесу.

Св.Иннокентий Комельский, любимый "собеседник" Нила, бывший вместе с ним на Афоне, известен своим проникновенным предисловием к Нилову "Уставу". Внутреннюю строгость он сочетал с внешней: запретил пускать в свой скит женщин (в этом он был ближе к Иосифу).

Судьба св.Корнилия Комельского напоминает судьбы многих пустынножителей: двадцать лет он живёт в лесу один, большей частью безмолвствуя. Пройдя этот "испытательный" срок, он позволяет себе срубить церковь и принять первых учеников. К посетителям он ещё более строг: ставит за версту от своего монастыря часовню с кружкой — кто хочет сделать доброе дело, может оставить деньги и идти обратно. Корнилий, как и Нил, высоко ставит книжное учение, в особенности "Лествицу". Однажды разбойники украли его книги, но не смогли найти в лесу обратного пути, вернулись и покаяться: святой простил их и подарил им книги. Главный храм в монастыре был посвящён, конечно, Богородице, а другой — св.Антонию, Великому египтянину, который однажды явился в Комельском лесу с хлебами и завещал раздать их нищим и сиротам — после этого Корнилий построил богадельню. Святой дважды покидает свой монастырь, но оба раза монахи уговаривают его вернуться. Он старается вести себя так скромно, что и умирает незаметно, не собрав, вопреки традиции, у своего смертного одра учеников.

Трагичными были обстоятельства жизни св.Арсения Комельского. Когда он приходит в глухой Комельский лес, разбойники убивают его спутников — но Арсений не уходит. Много досаждают ему дикие звери, пока святой не смиряет их силой своего духа.

Почитают на Севере память и другого Кирилла, Новоезерского. Прежде чем устроить

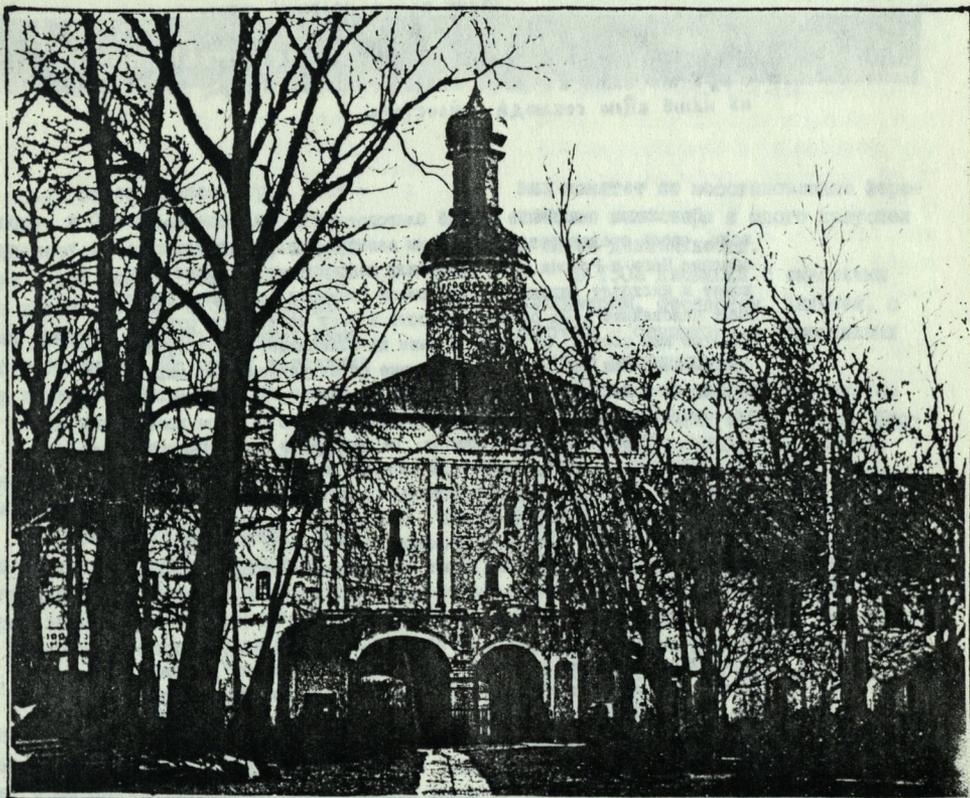
19 марта /1 апреля/ -
Прп. Иннокентия Комельского,
Вологодского /1521/

19 мая /1 июня/ -
Прп. Корнилия, чудотворца
Комельского /1537/

Конец ян.

Свѣтлопрѣимны свѣщѣ, същмых во тьмѣ глѣб-
шыяса, зрѣмъ стѣно дѣм: неестественный во
жжнѣиши огнь, настакалетъ къ рѣзѣмъ бжѣ-
ственномъ всѣх, зарѣю ѣмъ просвѣщѣицѣмъ, збѣ-
нѣмъ же почитѣемъ, сѣмъ: рѣдѣиса лучѣ ѣмънагъ
сѣнца: рѣдѣиса свѣтѣло незаходѣмагъ свѣта.
рѣдѣиса мѣанѣ, дѣшы просвѣщѣицѣмъ: рѣдѣиса,
ѣкъ громъ, врагѣ ѣстрашѣицѣмъ. рѣдѣиса, ѣкъ
многосвѣтлое воздѣлѣиши просвѣщѣнѣе: рѣдѣиса,
ѣкъ многотѣкѣиши источѣицѣ рѣкъ. рѣдѣиса,
кѣмъли живописѣицѣмъ ѣбразъ. рѣдѣиса, грѣхѣиши
ѣемѣицѣмъ скѣрнѣ. рѣдѣиса бѣне, ѣмыкѣицѣмъ
сѣвѣтѣ: рѣдѣиса чѣше, чѣрпѣицѣмъ радость. рѣдѣ-
иса ѣбонѣнѣ хрѣтова ѣгѣоухѣнѣа: рѣдѣиса жикѣтѣ
тѣиѣнагъ кесѣлѣа. Рѣдѣиса нежѣто неневѣстѣнаа.

24 августа /6 сентября/ -
Прп. Арсения Комельского /1550/



свой монастырь, св. Кирилл 20 лет странствует по северным городам, отказываясь от ночлегов в домах и ночуя на церковных папертях (это сближает его с проидьями). После этих странствий Кирилл находит маленький остров на Новом озере, в 30 километрах от Белого озера, и на сваях строит монастырь, который просвещенные паломники сравнивают с Венецией (теперь в этой "северной Венеции" - уголовная тюрьма).

Среди северных святых один - Александр Ошевенский - выделяется своим трогательным отношением к родителям. Приняв постриг в Кирилловом монастыре, он решает пустынножительствовать, но строит свою хижину отшельника напротив родительского дома. Особое внимание он уделяет своим племянникам и сам постригает их в монахи. Родной брат, потерявший детей (и работников), бросается на Александра с топором, но святой останавливает его словами: "Были твои дети, а теперь - слуги Божьи"...

4 /17/ февраля -
Прп. Кирилла Новозерского /1532/

20 апреля /3 мая/ -
Прп. Александра Ошевенского /1479/

И́къ плодъ красныи твои-
гѣ спасителнаго сѣніа, земля росскаа прино-
ситъ ти, гдѣ всѣ стѣла, въ той просіахшійа.
Тѣхъ мѣтлами въ мирѣ гавбоцѣ цѣрковь и стра-
на наша вѣдо соблюди милостиве.

Эти лица, осенённые Божьей благодатью, исполняющие Божью волю, своей преданностью Христовым заветам сделали возможным общенье Неба и России. Они выстроили лестницу, по которой восходят и нисходят Ангелы. И сами стали "земными Ангелами, небесными человеками". Их особая близость к Богу почитается русской памятью как святая. Их слова и даже их безмолвие, их поступки, совершенные или совсем не совершенные по их удалению от мирской суеты, их молитвы, слышные и неслышные, питают, как чистые ключи, реку христианства, разлившуюся по России. В русском храме человек, окружённый ликами святых, не чувствует себя одиноким или, напротив, — избранным, — он попадает в братскую семью, образованную духовными узами христианской любви. Иконы с ликами святых становятся "окнами в рай". Воспоминания о подвигах веры радуют и возвышают. Мысль о духовном (и кто знает — может, и о кровном) родстве со святыми зовёт к совершенствованию. Обращаясь к ликам святых, на паломническом пути к святым местам, где они совершали свои трудные, но радостные подвиги, поклоняясь их мощам, на которые, как и на их души, снизошла благодать, православный человек обретает своих "сомолитвенников", своих друзей, которые — друзья Божьи. Веками приближают прославленные русские святые свою родину к Богу. Они — проводники, помощники, спутники на её христианском пути. Они не отделяют Россию от Христа, напротив — соединяют, сродняют, дают право истинно говорить "Отче наш" от имени живших, живущих и ещё не рождённых. Святые жили во Христе, и в них жил Христос, они — зеркала Христовы, и если взглядеться в их лики, то можно увидеть Христа.

И всё же их лики — особенные.

Это — русские лики.

Днесь ликъ стѣхъ, въ зем-
ли нашей бѣс оубодиншхъ, предстоитъ въ цѣр-
кви и невѣдимъ за ны молатса бѣс: агглан съ
нимъ слакословатъ и вси стѣн цѣркве хрѣтскы
ѣмѣ спрѣднѣють: ѡ насъ бо молатъ вси кѣн-
ны прѣвѣчнаго бѣа.

... Заторопилась через мост — в гору, к Собору. Вошла в него, поднялась на леса: первый, второй ярус — всё выше и выше, всё труднее дышать... Вот и барабан: на меня смотрит Господь — между нами нет расстояния. Но чтобы взглянуть Ему в глаза — надо лечь на спину на доски лесов...

"Господи, помоги нам всем..." И не зная, что сказать дальше, о чём просить...

И Господь услышал меня: под Его взглядом я уснула глубоким, счастливым детским сном на пятом ярусе лесов внутри Собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря...

Собор наш существует 500 лет, и его истинное место в общей системе культуры только-только начинает проясняться. Собор стоит ровно в середине тысячелетнего христианского пути Руси: в 1488 году его начали возводить ростовские мастера, а в 1490 году строительство было завершено.

Возведение Собора связано с ростовским князем Оболенским, который пострится в нашем монастыре под именем Иосафа. И в монастыре ферапонтовом ферапонтовом, и в культуре русской Иосаф занял свое место: скромное и очень достойное. Попутно замечу, что многие представители рода Оболенских на протяжении нескольких столетий вносили свой вклад в строительство русской культуры. А в нашем монастыре с благодарностью помнят князя Алексея Васильевича Оболенского, который в начале 20-го столетия возгла-

вил комитет по восстановлению Ферапонтова монастыря и много преуспел в своей деятельности.

В 1502 Дионисий с сыновьями Владимиром, Феодосием, Андреем, с другими — безымянными помощниками — Собор расписывает.

С тех пор сказано достаточно и точных, и общих слов о гении Дионисия, о его мудрости, о красоте его росписей. Мы не устаём говорить в экскурсиях, что на территории нашей страны нет больше памятников средневековой живописи, которые бы сохранились в таком полном композиционном составе и объёме, как в Соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Но что стоит за этими словами?

Движение нашей жизни, наше осмысление бытия задано там, в глубине столетий, другими людьми, предшественниками... И так уж сложилось, что вся древнерусская философия, все глубинные идеи русской жизни были выражены прежде всего и полнее всего в иконописи и стенописи. Именно через изобразительный образ на протяжении столетий русский человек воспринимал главные, организующие понятия человеческой личности: свободу, добро, красоту, порядок, волю, правду, любовь — и всё, что им противостоят. Живопись вобрала в себя и философию, и поэзию, и музыку. А визуальная грамотность была очень высока. Видеть умели; без этого человек чувствовал себя беспомощным (как в наше время не умеющий читать и писать). Видеть учили, учила этому жизнь, весь её круговой, размеренный ход, весь

миропорядок, в котором небо, земля, человек, травинка каждая — занимали своё, строго определённое место. И человек должен был войти в этот круг, принять на себя часть работы, ему отведённой, и стараться достойно её выполнить, ничем не нарушив единства добра и красоты — ибо на этом единстве всё держится. Достигалось же это Большим трудом, борьбой с самим собой.

Вот в нашем Соборе и показана правда и мера этого пути, гармония внутреннего противоборства, путь к целиности в постижении себя самого, а через себя и всего сущего. Душевное равновесие и духовное здоровье человека.

... Не говорю здесь о том, что в основу росписи Собора положен Великий Акафист Богородице, что глубина и философское осмысление Дионисием каждого слова Акафиста — беспредельны; что это именно глубока, а не бездна; чем глубже в это проникаешь, тем явственнее в тебе свет, радость и надежда... Говорю только о том, что явлено в Соборе каждодневное действие человеческого бытия: утверждение формы личности, её становление, путь к самому себе. Здесь всё рассказано и показано: как любить, как вырастить ребёнка, как работать, как относиться к земле и небу; к соседу, как прощать, как подниматься после падения, как слушать другого, какой должна быть походка и каким — голос... Здесь показано, зачем он вообще нужен — человек: откуда он пришёл и куда уйдёт...

Ещё раз оглядываясь на тысячу лет назад: ровно на середине этого пути встал наш Собор. К тому времени духовной одарённостью, духовной работой народа был накоплен тот опыт, который доверено было вопло-

И
Всё бы показало творца, являясь зримый, нам же
И негдо вышшим, из безземных прозвез
Утробы, и сохранив их, также вч, негбени,
да чдо бидаци, копоймз и, вопище: Радуйся
цвете негбени: радуйся вене воздержаниа.
радуйся, воспрниа вбразе шбантациа: радуйся,
аггльское житие являющаа. радуйся древо свчтло-
плодовитое, и негбже питается вбрити: радуйся
дрво блгосвеннолиственное, илже покрываются
мнози. радуйся, во чрвч носила и забвителиа
пблнннмиз: радуйся, рождала наставника за-
блждшимз. радуйся, свдн пренагу оумолене:
радуйся, многгч согршеннн прощенне. радуйся
Одждо нагнх дерзновенна: радуйся любн, вса-
кое желанне побждющаа. Радуйся невчсто не-
невчстнаа.

тить Дионисию. Уже тогда было ясно (Иоасафу, наверное), что Собор этот приготовлен для будущего, для нас, а ещё больше для тех, кто придёт вслед за нами...

Наше дело — воспользоваться этим.

На протяжении столетий здесь заботились о будущем, здесь нарабатывали, накапливали опыт в трудной борьбе с собой, в тяжёлой, изнуряющей, подчас непосильной работе лучшие русские люди — те, кто хотел стать добрее, чище, совершеннее...

И такая глубокая, последовательная работа была возможна в первую очередь благодаря Собору: в нём уже было всё, что нужно человеку...

Спускаюсь с пятого яруса лесов в Соборе. Хожу туда редко. Не такой уж это лёгкий путь: войти в Собор, подняться на леса, добраться до самого верха и взглянуть в глаза Господу...

27 октября 1988 г.

чертание": вторая по времени каменная постройка монастыря, Благовещенская церковь (1530 г.) — это зримый "кондак на Благовещение", — одно из древнейших названий Акафиста, отражавшее его назначение.

Шло время. Текст Акафиста продолжал жить и звучать в монастыре, и в росписях Собора, и на страницах богатейшей монастырской библиотеки, и в литургии по определенным дням. Акафист пронизывал весь монастырский уклад: входил в молитвенное правило, в чин погребения монахов, присутствовал в размышлениях живущих здесь людей, которые ниточку традиции передавали друг другу до самой середины ХУП века.

Как раз в это время в монастыре и "дописывается" каменный текст Акафиста: в 1649 году возводятся новые Святые врата с двумя надвратными церквями, Богоявления и Ферапонта.

Так основная идея Акафиста — через похвалу Богородице и Благовещение — идея Богоявления находит зримое и очень достойное завершение в архитектуре Богоявленской церкви с приделом во имя Ферапонта. Кондаки и икосы Акафиста замкнуты, и этому не помешали столетия: каменную книгу "писали" мастера, которые отчётливо, ясно улавливали смысл, заданный Собором, росписями Дионисия, временем — ведь традиция не прерывалась.

Случай редкий, пронзительный и поразительный по всеобъемлющему воплощению — Великого Акафиста Богородице и в слове, и в живописи, и в архитектуре. Но воплощение это не осуществлялось само для себя. Бог явлен миру для человека, для осуществления человека по образу и подобию Божию. И в каменной книге Ферапонтова монастыря это ясно читалось. Два одинаковых шатра над-





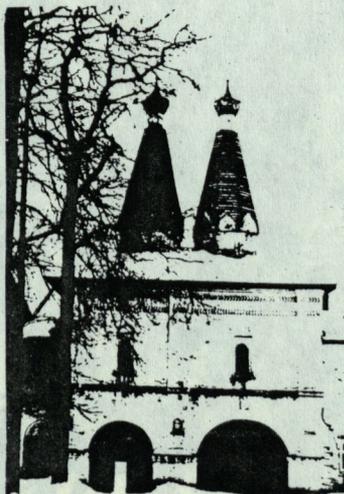
вратных церквей Богоявления и Ферапонта — это и есть ответ на появление в мире Бога: конкретный человек, Ферапонт, выбрал для себя путь Бого-человека и достойно прошёл этим путём, осуществив в себе образ и подобие Божие. И в архитектуре это наглядно явлено: и снаружи, и внутри — надвратные церкви — единый объём, одно пространство...

И дальше ровная линия от шатра Богоявленской церкви идёт к шатру церкви Мартинаиана и к маленькой главке Соборного придела во имя Николая Чудотворца — наглядные примеры воплощения в себе — лучшего; эти люди прошли путями совершенства и теперь предостоят перед Богом с молитвой. Так замыкается круг: рождение Богородицы — рождение обыкновенного человека к вечной жизни.

Если графически изобразить все памятники монастыря, то и линейное, графическое совпадение, рождение одного из другого, смысловая замкнутость и наполненность линий — "текст", возникающий на этом уровне, ещё раз подтвердит нашу мысль: Бог явлен через последовательные стадии воплощения:

Кондак д.

Всѣмъ естествомъ ягльское оудивися великому твоюгѡ вочлѣченіа дѣлу: непристѣпнаго бо явлю еѣа, зраше, всемъ пристѣпнаго члѣчка, намъ оубо спрѣвыванца, слышаща же шъ всеху: ялаанѣа.

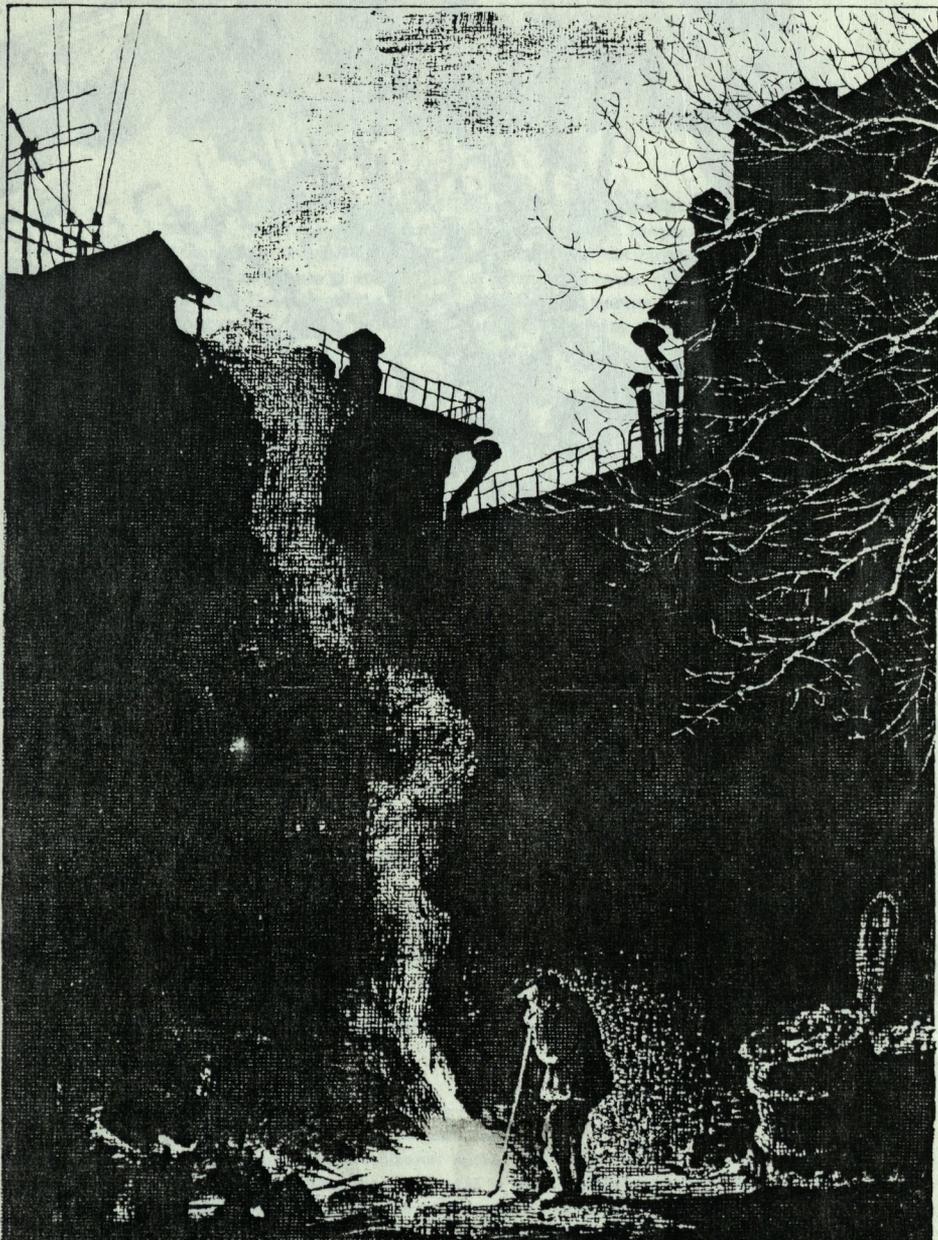




Рождество Богородицы — Благовещение — Богоявление. И человек явлен через Бога.

Круг этот замкнут в слове, в живописи, в архитектуре и в людях, для которых текст Акафиста был живым и которые имели счастье жить внутри традиции и передать её — дальше.

КОНЕЦЪ И БОГЪ СЛѢДЯ.



ЭТАЖЕРКА



Петр

Костюмовичей
ПОВЕСТКА

Общество искусств «АРИОН» приглаш

до нас в программу 25^{го} апр на 7 часов
 Н. Юмиевыми петроградской песни в
 стилисе советской музыка
 Начало в 7 1/2 часа Вход по повесткам
 и рекомендательным карточкам.

до 3^{го} февраля 1942.
 Общества Искусств «АРИОН»
 Английская набережная, д. 16.
 Сергеевская 48, в. 11.
 Иванова Арена

Председатель

Секретарь *Н. Юмиевич*



Лев Аренс ВОСПОМИНАНИЯ

Я помню Гумилёва ещё по Царскому Селу. Я был тогда гимназистом, учился вместе с племянником его, Колей Сверчковым, а Гумилёв уже кончал гимназию. Наши родители были дружны. С.Я. Гумилёв был знаком с моим отцом по делам служебным. Мой отец работал в Адмиралтействе, а С.Я. был морским врачом. И наши матери дружили. Хорошо помню Анну Ивановну Гумилёву. Властная, высокого роста, крепко сложенная, она, по моему впечатлению, держала в руках всю семью. Сводный брат Н.С., Дмитрий, служил в гусарских гвардейских частях, квартировавших в Царском Селе. Сестра Н.С. — Александра, в замужестве — Сверчкова, была матерью моего приятеля Коли, с которым мы часто ловили вместе рыбу с лодки на царкосельских прудах.

Помню хорошо директора нашей гимназии Иннокентия Анненского, преподавателя биологии Дмитрия Аркадьевича Судковского, поэта Комаровского, тоже царкосела. Не знаю, жив ли кто-нибудь ещё из царкосельских гимназистов. После революции я встречал только Евгения Полетаева, тогда комиссара НКП, который учился в своё время в одном классе с Гумилёвым.

Гумилёв как поэт стал известен мне, когда в книжной лавке в Гостином дворе (в Ц.С.), которую на свой счёт содержал какой-то купец, я увидел первую книгу Н.С. — "Путь конквистадоров".

Тогда я пробовал свои силы в литературе. Мною были написаны три новеллы, которые были примерно такого рода: девушка говорит влюблённому в неё юноше на берегу озера: "Вон там лилии. Достань их — полюблю." Юноша утонул, и его тело плывёт мимо девушки с букетом лилий в руках. Я решил пойти с этими новеллами и своими стихами к Гумилёву. Мы жили в парке, а Гумилёв в центре Царского Села.

Гумилёв пригласил меня в кабинет. В глаза бросились написанные маслом стены, рисунок изображал водяного, омут и лилии, почти как в моей новелле. Гумилёв прослушал мои стихи, прочитал новеллы и отозвался о них довольно-таки критически.

Запись беседы с А.К. Станкевичем в августе 1966 года.

Костюмированный вечер 3 февраля 1912 г.

Лежит в центре Лев Евгеньевич Аренс, справа от него полулежит Николай Степанович Гумилёв, слева в белом платье сидит на стуле Вера Евгеньевна Аренс, крайний слева — Александр Николаевич Пунин, в профиль — Николай Николаевич Пунин, второй справа — Владимир Андреевич Гаккель /будущий муж Веры Евгеньевны Аренс/.

Фото из архива Евгения Львовича Аренса.

сказав, что слог мне не у́даётся, слишком много прилагательных и т.д.

Отзыв Гумилёва охладил мой творческий пыл, и я бросил писать почти до 30-ти лет, когда я вошёл в группу, примыкавшую к футуристам, вместе с Тихоном Чурилинным.

С тех пор я иногда встречал Гумилёва в Царскосельском парке, но эти встречи плохо запомнились.

Гумилёв же встречался с моими сёстрами Зоей и Верой, известной поэтессой Верой Аренс, он даже посвятил ей стихотворение.

В 1910 г. я услышал, что Гумилёв женится на неизвестной мне тогда Ахматовой. Вскоре он нанёс вместе с ней визит моим родителям в Адмиралтействе, я случайно в это время был там и тогда увидел её впервые. Запомнилось, как Гумилёв шёл под руку с Ахматовой по коридорам Адмиралтейства.

Второй раз я видел Ахматову и Гумилёва вместе в редакции журнала "Аполлон", куда я зашёл по какому-то делу. Там были Пунин, Чулков, Кузмин, Маковский.

Началась война. Я ушёл добровольцем во флот. Сначала — матрос П-й статьи в казармах на Попелуевом мосту. Затем воевал на Чёрном море, получил Георгиевский крест и звание гардемарина, щеголял в новых погонях, и все пазывали меня адмиралом. Наконец я ушёл в отпуск и отправился домой в Царское Село. В вагоне поезда П. — Ц.С. встретил Гумилёва. Он был в форме, с солдатским "Георгием". Мы говорили с ним о войне, о службе в армии. Помню, как он советовал мне во время сна в походе всегда снимать шинель и накрываться ею — так теплее.

После революции встречался с Н.С. мало, только на литературных вечерах. Приглашенный билет на один из таких вечеров, подписанный Вс.Рожественским, у меня где-то сохранился.

Неожиданной была весть о его аресте. Всем было известно, что он не был замешан ни в каком заговоре, а просто был убеждённым монархистом и всегда был очень резок в своих суждениях.

Н.Пунин тоже пострадал в связи с этим заговором и просидел месяц на Шпалерной.

Уже позже, в 1925 году, я взял эпиграфом к одной из своих статей о лесном хозяйстве строки из стихотворения Н.С.

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни...

Эта статья была опубликована в № 10 журнала "Украинский охотник и рыболлов" за 1925 год.

Маргарита Марьяновна Тумповская.

Это имя должно заинтересовать литературоведа, как имя одной из возлюбленных Гумилёва.

Если даже не вникать в её собственное литературное творчество, оставившее следы в печати. Упомяну прекрасную статью в "Аполлоне" о творчестве Н.С.Гумилёва. Так пишет художник о художнике.

Гумилёв посвятил своей любимой не одно стихотворение, не помню всего, но назову "Сентиментальное путешествие" (кажется, напечатанное только в посмертном сборнике) и главное, — одну из наиболее пленительных лирических жемчужин "За то, что я теперь спокойный".

В июле 1916 года, гуляя со мной по Массандровской улице в Ялте, Н.С. прочёл мне его как недавно написанное. Я подумала: "Как должна быть счастлива та, вызвавшая пестрокрылый сон"...

Какой это был год? Наступила осенняя пора. В Дворце Искусства (Поварская 52) Брюсов вёл творческий поэтический семинар. (1918 г.?) Набралось много буйной молодёжи. Читали стихи кто во

Редакция "Сумерек" благодарит Марьяну Львовну Козыреву /дочь М.М.Тумповской и Л.С.Гордона/ за любезно предоставленные материалы из семейного архива.



что горазд. И горазды были более всего на самонадеянные выкрики. Помню, об одном из прочитанных стихотворений Валерий Яковлевич сказал: "Здесь наиболее интересное выражение у вас — "море вздурило". Я сидела в тесной толпе малознакомых авторов. Кое-кого я видела и раньше. Один из поэтов попросил у меня тетрадочку стихов и вернул с единственным замечанием: "Смял не я".

Мне захотелось испробовать свой голос, как он прозвучит в разнузданном хору, и я прочла свой "Сеанс Джиоконды", одну из первых проб широких тем, опыт, теперь отпавший для меня, как искусственный. Валерий Яковлевич сказал: "Погодите, сейчас неподходящая обстановка, об этом надо поговорить особо". По окончании семинара ко мне подошла незнакомая женщина в тёмном платье с тонким и строгим лицом. Она застенчиво сказала: "Мне и раньше приходилось слышать Ваши стихи, и теперь мне понравился Ваш "Сеанс". Давайте познакомимся." — "Как Ваше имя?" — "Маргарита Тумповская". — "Как хорошо, что мы встретились! Я так ценю Вас за статью о Н.С.! Каждому поэту должно хотеть такого вдумчивого глубокого разбора!"

Так началось наше знакомство, длившееся годы. Мы виделись с большими перерывами, но много раз. Она сидела у меня в кресле на Ольховской, я бывала у неё в полуподвальной комнатке Пречистенского переулочка. Как-то встретились в диетической столовой у Мясницких ворот. Я обратила внимание на робко и молитвенно сложенные на груди руки, но, не взглянув в лицо, прошла. Она меня окликнула (28 г.?) Встречались в доме Чулковых. Помню встречи на улицах. Она шла с учебником английского языка и упала, приложившись ладонями к земле.

Последняя встреча произошла на даче на Лосиноостровской. Маргарита Марьяновна жила там с мужем, годовалой дочкой и сестрой. Она ждала второго ребёнка. Шёл год 34-й (?). Я читала там:

В то грязнотаянье январское
Мир был унижен, хром и стар.

...Когда мы встретились, Маргарита была уже не очень молодая и казалась усталой, измученной. Она бедствовала, была неустроена, ходила всегда в тёмном платье. Её серые глаза, чёрные волосы, выразительные губы, — весь облик был бы красив в более

благоприятных условиях. Тихий голос, петербургская воспитанность, неулыбчивая серьёзность. Что делала она в те годы? Изучала английский. Задумывала с кем-то инсценировку для кино, почему-то ездила в Ташкент. Жила на даче у друзей в Петровском парке. В Ташкенте сблизилась с молодым человеком, значительно моложе её. Получила от него дочь Марьянку. Имени мужа никак не вспомню. Он был поэтом, и знакомство началось с показа его стихов старшему товарищу по перу. Стихи его читали впоследствии и мы с Варей Могиной по просьбе Маргариты. Они были располагающего душевного тона, но не определившимися, с невыявленным художественным лицом. Автор говорил, что стихи ему снятся и утром он записывает их целиком. Молодой человек знал в совершенстве английский и служил переводчиком при каком-то англичанине-дипломате. Патрон спрашивал его: "Хорошо ли готовит ваша жена?" Молодой человек весело отвечал: "Моя жена совсем не готовит". На Лосиноостровской станции существенным семейным блюдом была геркулесовая каша. Молодой человек держался бодро, казался волевым, был преисполнен решимости бороться за свою семью. Он намеревался ехать в колхоз преподавателем и там прочно обосноваться. Жену он почитал, в маленькую дочку был влюблён. В совхозе он был арестован, сослан, семья, очевидно, погибла, и больше я о Маргарите Тумповской ничего никогда ни от кого не слышала. В памяти осталась надпись на книге, подаренной ей супругом: "Любимой - осенью".

Маргарита была очень мила и доверительна со мной. Она рассказывала, что с детства увлекалась магией, волшебством, мысленно была прикована к Халдее. Придавала значение талисманам. О Халдее был у неё ряд стихов. Когда мы встретились, она была убеждённой антропософкой. Ходила с книгами индусских мудрецов, йогов. Она с негодованием рассказывала, как откровенно неуважительно Чулков отзывался об её верованиях.

Маргарита казалась созданной для углублённых, созерцательных настроений и поисков, для молитвенных жертвоприношений. Должно быть, её ленинградская квартира, которую она ликвидировала в голодные годы, была полна книжными шкафами и полками.

Её стихи? Она давала мне читать свой рукописный сборник "Дикие травы". Они были культурны, хорошего тона, но не казались сильными. "Интеллигентные стихи". Но в наши последние

встречи она читала "Сонеты о Гамлете", и мы находили их замечательными. По творческому пониманию темы и поэтической покорительности. Где теперь эти умные, яркие, мастерские сонеты?

Маргарита (Мага, называли её близкие) немало рассказывала мне о своём романе с Гумилёвым. Привожу, что уцелело в памяти из её сообщений.

- Он полюбил меня, думая, что я полька, но, узнав о моём еврействе, не имел ничего против.

- На литературных вечерах, где мы с Н.С. бывали, он ухаживал одновременно и за Ларисой Рейснер. Уходил под руку то со мной, то с ней. Лариса Рейснер была впоследствии из тех революционерок, которые кладут голову под гильотину, картинно позирруя.

- Я как-то сказала Н.С.: "За мной начал сильно ухаживать возлюбленный подруги, который давно был связан с ней трогательным романом. Вот поди верь вам, мужчинам!" Он молчал и улыбался.

- Я никогда не могла назвать его Колей, так не шло ему это, казалось именем дачного мужа. Называла - дорогой. А он удивлялся и считал себя Колей.

- Когда наконец добиваться уж больше было нечего, он облегчённо вздохнул: "Надоело ухаживать!.."

- Такой отвлечённый человек...

- Ведь его взгляды на женщину были очень банальны. Покорность, счастливый смех. Он, действительно, говорил, что "быть поэтом женщине - нелепость".

- Был случай, когда я задумала с ним разойтись и написала ему прощальное, разрывное письмо. Он находился тогда в госпитале, болел воспалением лёгких. Несмотря на запрет врача, приехал ко мне тотчас, подвергая себя опасности любого обострения. Не знаю, разошлись ли мы с ним тогда, или сошлись ещё больше.

- Анна Андреевна ворчала на него, когда находила, что он плохо выбрал себе даму. "Но я не ворчу на него за выбор Вас."

- Аня Энгельгард была дикая, застенчивая девушка, когда он её встретил. Она не могла и не умела сопротивляться его напору.

Мне Маргарита говорила: "Стихийное движение и стихийная косность".

- Как сказать - Вам дано, но что сказать - ещё надо нажать.

Летом 1921 года, когда прошёл слух об аресте Гумилёва, Маргарита очень волновалась. Были предположения, что он бежал из тюрьмы и находился на острове. В те месяцы в её подвал приходил обаятельный артист театра Вахтангова, и она не могла от него отказаться.

Помнится: когда я узнала (говорит Маргарита), что в июле 1921 года он приехал в Москву, я была у друзей на даче, лежала на кушетке и при этом сообщении только повернулась на другой бок...

Что же ещё вспомнить "о самой нежной, самой стройной"?

В её низкую комнатку приходила подруга-медичка. В своём созерцании она говорила Маргарите: "Как он тебя любит..."

- Уж что может видеть она, её способностям проникания - я не удивлюсь никогда," - поясняла Маргарита.

Июль 1970 г.

Привожу единственное стихотворение М.Тумповской, извлечённое в окрестностях.

Альманах "Дракон". Петроград. 1921 г.

З а к а т

Могучий хвост купая в бездне вод
И в небе разметав блистательную гриву,
Он умирал.
Над ним небесный свод,
Подобие палатки прихотливой,
Коврами пышными и пухом райских птиц
Был тщательно разубран.
Мы ж во прахе
Простёртые пред ним - лежали ниц.
И до тех пор в благоговейном страхе
Покоились, пока резец серпа
Не врезался в лазурь небесного герба.



Марьяна Козырева

МАРГАРИТА МАРЬЯНОВНА ТУМПОВСКАЯ

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ ГОРДОН

Маргарита Марьяновна Тумповская родилась 27-го декабря 1891 г. в Петербурге (Жуковская 14) в семье детского врача Марьяна Давыдовича Тумповского, где она была младшей из четырёх сестёр.

Две старшие: Лидия Марьяновна Арманд (по мужу) и Елена были членами партии эсеров (Лидия была в ней одним из ведущих лидеров). Младшие — Ольга и Маргарита — политикой не занимались, если не считать того, что при обыске полиция извлекла пачку листовок и мешочек с динамитом из-под матрасиков Магочкиных кукол (рассказ Е.М.Тумповской).

Маргарита окончила Стоюнинскую гимназию и Бестужевские курсы (даты не знаю). Лет в 13 — 14 вплотную увлеклась поэзией и, конечно же, стала писать сама. Вот стихотворение, написанное ею в 14 лет (после чтения Вальтера Скотта):

Барон умирает. Лежит он в постели,
Бессилен, угрюм, одинок.
Глаза его смотрят без смысла и цели
На белый немой потолок.

Сплетаются мысли, туманны и дики,
В ушах несмолкаемый стук.
Он слышит вдали полупьяные крики
И песни пирующих слуг.

Темнеет. Сливаются в массы предметы.
Никто не приносит огня.
И он умирает без ласки и света,
Не видя ни солнца, ни дня.

И в замке своём, как ребёнок безродный,
Он в страхе трясётся и ждёт,
Что кто-то придёт, молчаливо-холодный,
И в Вечность с собой уведёт.

Разумеется, стихи эти и детские и подражательные, но всё-таки в них уже, как в зёрнышке, есть многое из главных тем её дальнейшего творчества. И ощущение иллюзорности, хрупкости окружающего нас материального мира, и даже "...полупьяные крики и песни пирующих слуг", вновь появившиеся в написанной ею в 1934 г. "Мистерии о Дон Хуане и Командоре" *. Ощущение иллюзорности нашего мира, видимо, родившееся в ней ещё в детстве, не оставляло Маргариту всю её не слишком долгую жизнь.

Маргарита входила в круг поэтов-акмеистов и, несомненно, находилась под сильнейшим влиянием Гумилёва. Несколько стихотворений Николая Степановича посвящены ей. Но я боюсь утверждать с точностью, какие именно, так как Н.С. обладал не слишком удобным для биографов свойством: одни и те же стихи посвящать попеременно очередным дамам сердца. По свидетельству О.А.Мочаловой, это "Сентиментальное Путешествие" и "За то, что я теперь спокойный". Про второе я не слишком уверена (очень уж непохожа его лирическая героиня на мою мать), а про "Путешествие" думаю, что так оно и есть. И вот почему: я с детства помню одну строфу, не вошедшую, кажется, ни в один сборник (идёт она сразу же за лангустом, вернее, за "если соком рейнских полей пряность лёгкая полита"). Вот она:

Низкий звук над землёй летит,
Как трубы архангельской глас,
Это наш пароход гудит,
Это на борт зовёт он нас.

Дальше идёт "По утихнувшим площадям" и т.д.

Несколько стихотворений Тумповской напечатаны в журналах "Аполлон" и "Дракон". В том же "Аполлоне" (№ 6 - 7 1917 г.) опубликован её очерк о книге Гумилёва "Колчан".

Друзьями Тумповской были в те годы (а кто остался жить, то и в более поздние) Мандельштам, Цветаева, Радлова, К.И.Чуковский (это те, о ком я помню). Да, Волошин тоже. С А.А.Ахматовой у неё были хорошие, дружеские отношения. И после гибели Гумилёва А.А. сильно помогла Маргарите пройти сквозь это тяжёлое вре-

* См. "Сумерки" № 10 (ред.).

мя и поддержала её, чем могла.

В 1927 г., приехав навестить в Ирбит свою ссыльную сестру Лидию, Маргарита познакомилась с моим отцом Л.С.Гордоном (тоже ссыльным) и вышла за него замуж.

В 33-ем году и она и отец были арестованы. В тюрьме родился и умер мой младший брат Виктор.

После выхода на свободу (сравнительного быстрого - через год) матери удалось (насколько я знаю, при помощи Корнея Ивановича) получить более или менее постоянную работу переводчика при издательстве "Академия". Ею переведены: "Сон в летнюю ночь", "Ифигения в Авлиде" Расина, "Учёные женщины" Мольера, "Сутяги" Корнеля (я привожу список лишь полностью опубликованных переводов).

В это же время Маргаритой Марьяновной написана и главная работа её жизни "Мистерия о Дон Хуане и Командоре", рукопись которой попала в мои руки несколько лет назад (я была уверена, что она пропала безвозвратно, но булгаковский принцип сработал и тут). Мне кажется, что в этой поэме наиболее полно отразилась та огромная напряжённая духовная работа, которой жила моя мать при самых, казалось бы, неподходящих к тому внешних обстоятельствах. Так же непонятно, как уцелели и несколько сделанных ею иллюстраций к "Дон Хуану".

Умерла Маргарита Марьяновна летом 1942 года (6 июля) в эвакуации в Андижане.

Маргарита Марьяновна принадлежала к последователям Блаватской. Но, насколько я могу судить (в день её смерти мне исполнилось 14 лет), её очень отталкивала внешняя атрибутика многих последователей этого учения - столоверчение, медиумические явления и пр. Тем не менее, теософия действительно была её религией. И у меня до сих пор хранится фотография юного (тогда) Кришнамурти, от которого она и её друзья ждали грядущих откровений, как от нынешнего воплощения бога Кришны, от чего сам Кришнамурти, к их большой грусти, впоследствии (кажется, перед самой войной) наотрез отказался. Матери моей было иногда очень не просто с моим отцом, в те годы увлечённо работавшим над диссертацией, связанной с французским Просвещением.

Незадолго до своей смерти (мать отлично сознавала её приближение и исподволь готовила меня к этому) она попыталась дать

мне хоть приблизительное понятие о том учении, которого она придерживалась. И даже нарисовала для ясности (воспроизвожу её по памяти) приблизительную схему восхождения души к Абсолюту. Души в периоды воплощения и инкарнаций движутся по спирали вверх, а некоторые, как скалолазы, впрямую; кто-то скатывается вниз, или, увлечённый соблазнами, задерживает своё восхождение. Это всё, что я тогда восприняла (и, кажется, не много с тех пор к этому добавила). Как человек сугубо реалистический, я тут же после маминной лекции стала немедленно прикидывать, не сможет ли никогда мной не виденный (но о существовании которого я уже знала) мой брат Витя за полным отсутствием грехов быстро обернуться в инкарнации и родиться моим сыном. После чего мама рассмеялась и перестала меня просвещать (хотя я и теперь не совсем понимаю, в чём, с её точки зрения, заключалась моя ошибка).

Несмотря (или благодаря) на крайнюю свою житейскую неопытность и некоторую отрешённость от окружающей её действительности, в самые, казалось бы, страшные годы мать исхитрилась не поступиться ни единой крохой из того, что она считала верным. И, благодаря ей и отцу, я уже в восемь лет знала всю правду о нашей "великой эпохе" и её "гениальном вожде" и избежала массового психоза, паразитившего стольких из моих сверстников.

1990

* * *

Мой отец, Лев Семёнович Гордон, родился в 1901 г. в Париже. В 1910 г. семья его отца вернулась в Россию. В 1918 г. из последнего класса гимназии Лентовской (теперь, кажется, школа № 46 Петроградского района) ушёл добровольцем в Красную армию. Был ранен, попал в плен (считался погибшим), вернулся домой после окончания Гражданской войны.

Работал в торгпредствах СССР в Германии, Дании и Англии в качестве переводчика. Вернувшись в 1925 году, разумеется был арестован и выслан в город Ирбит, где и познакомился с моей матерью, Маргаритой Марьяновной Тумповской, приехавшей навестить

свою, тоже высланную, сестру - Лидию Марьяновну Арманд, в прошлом одного из ведущих лидеров партии эсеров (и невестку Инессы Арманд).

По окончании срока ссылки отец работал переводчиком и механиком в гражданской авиации в посёлке Удельная под Москвой. В начале 33-го года родители вновь были арестованы (мать - впервые). Мать была через год освобождена, а отец отбывал срок на строительстве Беломорского канала. Был освобождён в августе 1935-го года.

С сентября 1935-го года до начала войны работал преподавателем английского языка в Институте механизации сельского хозяйства в зерносовхозе № 2 (ст. Верблюдь) под Ростовом. В 40-ом году окончил за год экстерном филологический факультет Ростовского университета и начал работу над диссертацией ("Вольтер и его время").

В начале войны отец ушёл на фронт (выучив наизусть проверочную таблицу и тем скрыв от медкомиссии дикую свою близорукость). В конце 42-го года после ранения был демобилизован.

После войны работал в ПИБ им. Салтыкова-Щедрина в отделе Редкой Книги, совместно с В.С. Люблинским и Н.В. Варбанец принимая участие в работе над каталогом библиотеки Вольтера. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию.

16 ноября 1949 года был вновь арестован. После длившегося год следствия (отец отказывался подписывать какие бы то ни было показания) был отправлен в Тайшетский лагерь.

После реабилитации (в 1956 г.) преподавал историю сначала в Пермском, а затем в Саранском университете. В 1969 г. в Москве при Институте Истории состоялась защита его докторской диссертации: "Левое крыло французского Просвещения" (о французских самиздатчиках XVIII в., как выразился Е.Г. Эткинд). За это время им был написан целый ряд научных работ, опубликованных частью у нас, а частью во Франции и в Германии. По ходатайству дирекции ПИБ продолжал работу над каталогом Вольтера.

Умер Л.С. Гордон 6/УП - 1973 г.



Маргарите

Когда струится на ночные крыши
Холодный и голубоватый свет,
А ропот города всё глуше, тише, -
Приходит та, которой не услышу,
Приходит та, которой больше нет.
Как через ров, через года разлуки
(О, не спугнуть бы появления сна!)
Прохладные, ещё живые руки
Протягивает молча мне она.
Притихшие, без мысли и без цели
Мы отправляемся бродить вдвоём
В огромный и открытый оком,
На свежий луг, по звёздам афоделей.
И солнечная даль встаёт, светла...
- Ты вырвала отравленное жало,
Ты никогда меня не покидала,
Ты тайно за руку меня вела.
Пусть я порой ещё не понимаю,
Куда меня ведёт мой тихий друг,
Пусть этих троп запутанных не знаю,
Мне не знаком росистый этот луг,
Где мы скользим, не разнимая рук,
Пусть ты к утру развеешься туманом,
И я проснусь - в который раз! - один,
Но принял я залогом необманным
Морщины острые и блеск седин, -
Знак, что свиданье с каждым днём всё ближе,
Пусть я не знаю, через сколько лет
Я встречу с той, кого сейчас не вижу,
Увижу ту, которой больше нет.

13.II.47

I

Свободен навсегда, эска лежит.
Он мог состариться, но хлопнул выстрел.
Он мог бы убежать, — не убежит.
Он мог бы срок тянуть, а кончил быстро.

Конвойный ухмыляется. Он рад:
Он воин бравый, обидительный и меткий.
Дурак, конечно, сам был виноват, —
Зачем некстати подошёл к запретке?

Как нынче просто всё! Без лишних слов
Составлен акт — мол, вскрыли и зашили.
Лишь номер со спины и со штанов
Чернеет нагло на его могиле.

2

Взявшись за руки по пять,
Волоча свинцово ноги,
Мы плетёмся по дороге
Под конвойный "распрямать".
И в пыли, в поту, в чаду
В общем строе я иду.
И мечтаю о бараке,
Где хоть нары я найду,
Где усну в полубреду —
Нумерованный покойник
В нумерованном аду.

нач. 1950^X

А. С. ГОРДОН



В июле 1973 г. скончался доктор исторических наук известный советский историк Лев Семенович Гордон Париже в семье эмигранта. В 1914 г. он приехал в Рб работал переводчиком и преподавал в ряде учебных : он стал старшим научным сотрудником Государствен наяд составленном Католага-Библиотеки Вольтера. Это о следования по вольтерведению: «Вольтер и государств его библиотеки») и др. Темой научных исследований и в дальнейшем оставались проблемы социальной исто шая заслуга в изучении литературы Просвещения и ц фигуры ряда забытых литераторов и публицистов и и исследованием плебейско-демократического течения общес ской мысли предреволюционной эпохи XVIII в. Эта за Дитца, в серии публикаций под редакцией Вернера Краусс zur plebejisch-demokratischen Tradition in der französischen Berlin, 1972, 372 S), в который вошли 14 статей автора, по различных советских журналах.

Орган Французской коммунистической партии журнал «местил две развернутые рецензии на эту книгу и высоко оцени нация Л. С. Гордона».

Многочисленные статьи Л. С. Гордона были опубликованы на стр одних из авторов ежегодника», «Новой и новейшей истории». принимал активное участие в работах международных ист оквиумов, в частности XIII всемирного конгресса ист тлубокая эрудиция, исследовательский талант, ть ельное отношение к молодым исследователям, ть аженние. Кончина Льва Семеновича Гордо ой науки.

СПРАВКА

**СССР
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

23 февраля 1959 г.
№ 25/5-27037
гор. МОСКВА

ГОРДОН Лев Семенович, 1901 года рождения, нахо дился в местах лишения свободы и ссылке: с сентября 1925 года по март 1929 года; с 15 февраля 1933 года по 29 июня 1935 года и с 17 ноября 1949 года по 23 се ря 1955 года.



ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД СССР

Н. Чилин

/Романов

отдел № 24 МВД СССР

* * *

Не знаю, то или нет,
И так ли это зову,
Но помнишь в недолгом сне
И бредишь о нём наяву.

Ещё не рождённый, он
Душок томит меня,
Но труден его закон,
И мне его не понять,

Не определить числом,
Не вызвать заклятьем в мир,
И прах отмирающих слов
Облик его затмил.

И грудой грубых камней
Рухнул неверный стих...
Стих, приснившийся мне,
Не созданный мной, — прости!

1946-47

СКАЗКА ПРО ВАСЬКУ НЕМЕШАЕВА — ПИТЕРСКОГО ВОРА

На Фонтанкиной улице, дом 32 (третий двор налево), что возле бывшего дома графов Шереметевых, жил да был Васька Немешаев — Питерский вор.

Вот раз апосля фарту-удачи идёт он по Невскому, а навстречу гроб везут с упокойником. А граждане сопровождающие идут рядом и по гробу палками колошматят. Удивился Васька.

— За что ж вы его так, а?

А граждане сопровождающие объясняют, что упокойник должен остался тыщу рублёв.

— Только-то и делов? — спросил Вася.

Отдал им Вася тыщу рублёв, захоронил покойничка чин чинариком, сидит со своей марухой, чаёк попивает вприглядочку; маруха его ругает на чём свет стоит!

Только вдруг дверь отворяется, добрый молодец является, кудри русые по плечам бегут.

— Ты, — говорит, — будешь Васька — Питерский вор?

— Ну я, — отвечает Василий (а сам за шпалер)...

— А я, — говорит добрый молодец, — есть Ванька — Деревенский вор. И хочу я к тебе идти в сотоварищи.

— Ну садись, коли так, не обессудь на угощении.

Вот и стали они вместе жить. На другой день идут они в Пассаж, пошмонали маленько. Затем к Елисееву: перцовочки, тюль-ку в томате, лимончиков — и в Шувалово. Сидят, солнышко светит, птички поёт...

Только вдруг на сосне Попугай-птица загукала! Вынимал тут Ванька Деревенский вор свой тугой лук, пудал в Попугай-птицу! Убил Попугай-птицу!

— Лезь, — говорит, — Вась, на сосну, посмотри, что у ней там в гнезде.

Полез Вася.

— Ключи, — говорит, — там у ней какие-то.

— А не простые то ключи, друг Васечка, а Попугайные! Кидай их сюда.

Кинул Вася.

— А ещё что там есть?

- Ещё клубок какой-то.

- А не простой то клубок, друг Васечка, а Попугайный. Тащи его сюда, да слезай по-быстрому!

Слез Вася. Перловочку быстренько допили, твёлочкой с лимончиком закусили - и в город, к Государственному банку. Идут, прогуливаются. А возле банка часовой туды-сиды ходит.

- А дозвольте, - говорит Ванька Деревенский вор, - гражданин начальничек, середнячкам несознательным на здании такую красивую полюбпытствовать.

- Нечего, - отвечает часовой, - тебе, деревенщина, полюбпытствовать. Тут учреждения казённая.

Тут Ванька червончик достаёт, часовому показывает. А на червончике, известное дело, надпись: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Часовой оглядывается по сторонам, червончик берёт и говорит:

- Ладно, перелетайте, раз такое дело, и соединяйтесь. Да только по-быстрому!

Ванька с Васькой через стену перелетели, соединились - и на крышу. На крыше Ванька Попугайными ключами обвёл - дыра и открылась. Ванька клубок достаёт, Ваську за пуговицу привязывает...

- Лезь, - говорит, - Вася!

- А как оборвусь?

- Не бойсь, друг Васечка! Не простой то клубок - Попугайный!

Полез Вася. Ваня за ним. Сейфы, какие есть, всё дочиста. На крышу. Перелетели, соединились. И к себе - на Фонтанкину улицу 32, что возле графьёв Шереметевых, третий двор налево. Марух назвали, пьют, гуляют!

А на другое утро Зиновьев проспался и пошёл к себе в Государственный банк доглядеть - как там и что... Глядь - в крыше дыра, а под дырой сейфы - все как есть чистые!

Ух и рассердился Зиновьев! По Смольному сам себе навстречу бегаёт! Кличет он своих красных командиров к себе.

- А привести, - кричит, - ко мне сей момент Фёдку - Санкт-Петербургского вора, живо!

А Фёдка этот у Зиновьева для всякого случая ещё с царских времён в подвале сохранялся. Привели к нему Фёдку (а у того по плечи уже и грибы растут). Сажает его Зиновьев в бровничок, везёт к Государственному банку, показывает.

- Э-э! - говорят тут Фёдка-Санкт-Петербургский вор, - не простой тут вор, видать, работал, а с Попугайными ключами. И ловить его, Зиновьев, надоть не иначе, как на Именного Комму-

нистического Козла с Золочёнными Рогами.

Так и сел Зиновьев!

- Это ж откуда ты про такое слышал?!

- Да уж прослышамши...

Ну-с, скоро сказка сказывается, ещё быстрее дело делается, только идут на другой день Васька с Ванькой гулять. Только на Невский поворотили, глядь: музыка играет, ведут по Невскому Именному Коммунистического Козла с Золочёнными Рогами. А позади - Милиция, Юстиция, Прокуратура, Провокатура. И Живая церковь сзади!

Так и ахнул Васька!

- Ой! Мне б такое!

- А чего ж, - говорит Иван, - это нам запросто.

Шапку сымает и кланяется.

- А дозвоьте, - говорит, - граждане начальнички, середнячкам несознательным на диву такую дивную поллюбопытствовать. Милиция с Юстицией переглядываются, мигают друг дружке.

- Чего ж, - говорят, - любопытствуйте, коли охота (а сами смотрят - чего, мол, будет?)...

- А может, - говорит Иван, - и в гости, туточки за уголок только поворотить, не откажетесь, да чем Бог послал и перекусить маленько?

- Что ж, - отвечают Прокуратура с Провокатурой, - чего ж не зайти, можно и зайти (а от Зиновьева им приказ даден: звать кто будет, идти беспременно!).

Пошли. Поворотили, значит, на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево) - и Милиция, и Юстиция, и Прокуратура, и Провокатура. И Живая церковь сзади. Козла в сарайчик, сами за стол; Ваня с Васей им перв чок подливают...

А маруха ихняя промеж тем шасть в сарайчик! Козла зарезала, рога под замок, шкурку на гвоздик, козла в гусятницу, да и на стол подаёт.

- Не побрезгуйте, дорогие гостички, на угощении, откушайте козлятинки.

Гости едят, а сами переглядываются - ну-ну, что, мол, будет? Поели, поблагодарили и вон. А сами на воротах мелом пометку сделали: "Мы здесь были, козлятину ели!" И к Зиновьеву!

А Васька с Ванькой - не будь дураки - следом вышли. Глядь - на воротах надпись: "Мы здесь были, козлятину ели!"

Ну, скоро сказка сказывается, ещё быстрее дело делается, часу не прошло, идёт Зиновьев Ваську с Ванькой брать. С ним Милиция и Юстиция, Прокуратура, Провокатура. И Живая церковь

сзади. Глядь, а на воротах надпись: "Мы здесь были, козлятину ели!"

- Ага! - кричит Зиновьев. - Попались, голубчики!

Только вдруг видят: и на этих воротах тоже самое, и на тех, и на бывших графьев Шереметевых... Куда ни глянешь, везде сплошная козлятина. Ух, и рассердился Зиновьев, по Смольному себе навстречу бегаёт.

- Позвать, - кричит, - ко мне Фёдку-Санкт-Петербургского вора сей момент!

Привели Фёдку.

- Ты что ж, контра окаянная, ни за что ни про что партийную животику зазря загубил, а?!!!

- Э-э, - говорит тут Фёдка-Санкт-Петербургский вор (и по плечи чешет). Не простой тут вор, видать, работал, а битый. И ловить его надобно не иначе, как на Бочку с патокой. А ты, Зиновьев, не колготись, а делай, как я велю.

Ну и научил, как и что.

Ну-с, много ль времени прошло, я не ведаю, а только деньги у Васьки с Ванькой вскорости все повывелись. И не иначе им выходит, как сызнова идти Государственный банк брать.

Пришли, значит. Червончик вынули, перелетели, соединились. Попугайны ключи поднесли. Дыра открылась. Полез Вася. А у Зиновьева в те поры, как Фёдка его научил, под Дырой Бочка с патокой стоит заготовленная. Васька в неё и угодил.

Видит Ванька: дело плохо. Полез следом. Из-за голенища вострый нож достаёт, буйну голову Ваське с плеч сымает, в мешок кладёт, сейфы счищает и к себе - на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево). Голову достаёт, в банку с брусничным вареньем кладёт для сохранности. Бумажкой прикрыл, верёвочкой завязал и на полочку.

А Зиновьев на утро идёт в Государственный банк. Глядь: Дыра. Под дырой Бочка с патокой. А в Бочке с патокой - Безмянное тулово при часах и цепочке, ни головы, ни документов нет.

- Позвать сюда Фёдку сей момент! - кричит Зиновьев.

Привели Фёдку.

- Э-э, - сказал тут Фёдка-Санкт-Петербургский вор. - Да. Не простой тут вор, видать, работал, а со товарищем. И ловить их, Зиновьев, надоть так вот и так.

Ну, и научил.

А на другой день вышел Ванька доглядеть, как, мол, и что. Глядит: возле Троицкого моста, что у памятника бывшему графу

Суворову, Бочка с патокой стоит на постаменте. А вокруг Двенадцать Красных Командиров ходят, в ладоши бьют, ногами топают.

Ну тут Ванька обратно на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево), лошадку запрягает, самогончика бочечку на саночки — и к мосту. Доехал до моста, а на мост — ну никак — гололёд с гололедицей. Тут он шапочку сымает и кланяется.

— Помогите, — говорит, — граждане начальнички, середнячку несознательному. А уж угощеньице, само собой. Первачок-первый сорт, слеза, а не первачок.

Двенадцать Красных Командиров переглядываются — как не помочь (а мороз лютый, шинелишки худые, сапожки тонкие)?..

Ну-с, много ль времени прошло, аль не много, я того не ведаю, а только идёт Зиновьев доглядеть, как там и что. Глядит: лежат мои Двенадцать Красных Командиров звездой — ножки вместе, головки врозь, а Бочки с патокой и след простыл!

Ух и рассердился Зиновьев! По Смольному себе навстречу бежит, волосья повсюду рвёт, сердешный. Убивается.

— Позвать, — кричит, — Федьку, туды его растуды!!!
Привели Федьку. Развёл руками Федька.

— Да, — говорит, — Зиновьев, не иначе промашка у нас с тобой вышла.

Ну, Федьку, само собой, в подвал на замок. А делать-то что? Делать нечего.

А Ванька в те поры быстрым ходом на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево), баночку с полки снимает, голову достаёт, тряпочкой остёр, к тулову приложил, Попугайными ключами обвёл — ожил Вася.

— Тыфу, — говорит, — какая сласть снилась!

Ну и стали они дальше жить. День живут, два живут. Только видит Ваня, что друг его Васечка скушен, не весел, ниже плеч буйну голову повесил.

— Чтой-то ты, друг Вася, заскучал? Говори, не таюсь.

Тут Васька плачет, заливается, горючими слезами обливается.

— А то я заскучал, друг Ванечка, что покамест я у тебя в банке с брусничным вареньем содержался, такая мне сласть приснилась, что и сказать нельзя.

— А и что ж тебе приснилось, друг Васечка?

— А будто у Зиновьева за семью замками, за девятью печатями от царского режиму Краса-Царевна сохраняется.
Задумался Иван.

— А что, — говорит, — есть такая царевна.

Ещё хуже Вася убивается.

- Ой, Ваня! Жизнь мне не мила без этой царевны!

- Чего ж, - говорит Иван, - а Попугайны ключи на что?

Ну-с, скоро сказка сказывается, ещё быстрее дело делается, только на другое утро Краса-Царевна просыпается, а над её добрый молодец склоняется, в уста сахарные её целует. Быстрым манером на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево), да честным пижком и за свадебку.

Пьют, гуляют! Вот уж и полночь. Петух с цирку Чинизелли за реку поёт... Только вдруг встаёт Иван.

Вася кричит:

- Ваня! Друг! Выпьем.

А Иван головой качает и говорит - глухо так (а с лица как вроде и не сам):

- Пора мне, Вася.

Василий даже протрезвел маленько.

- Куда это пора?

(А Царевна и вовсе глазами лупает).

- На Смоленское.

- На како тако Смоленское?

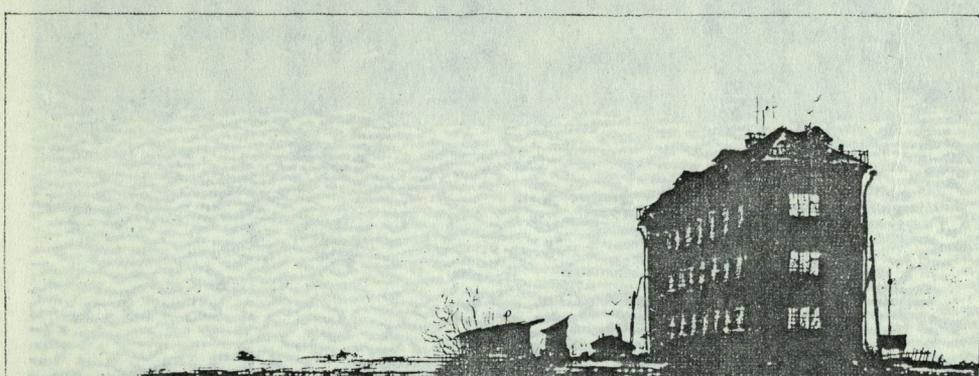
- А помнишь, - говорит Иван, - упокойника, которого ты от долгу ослобонил?

- Ну...

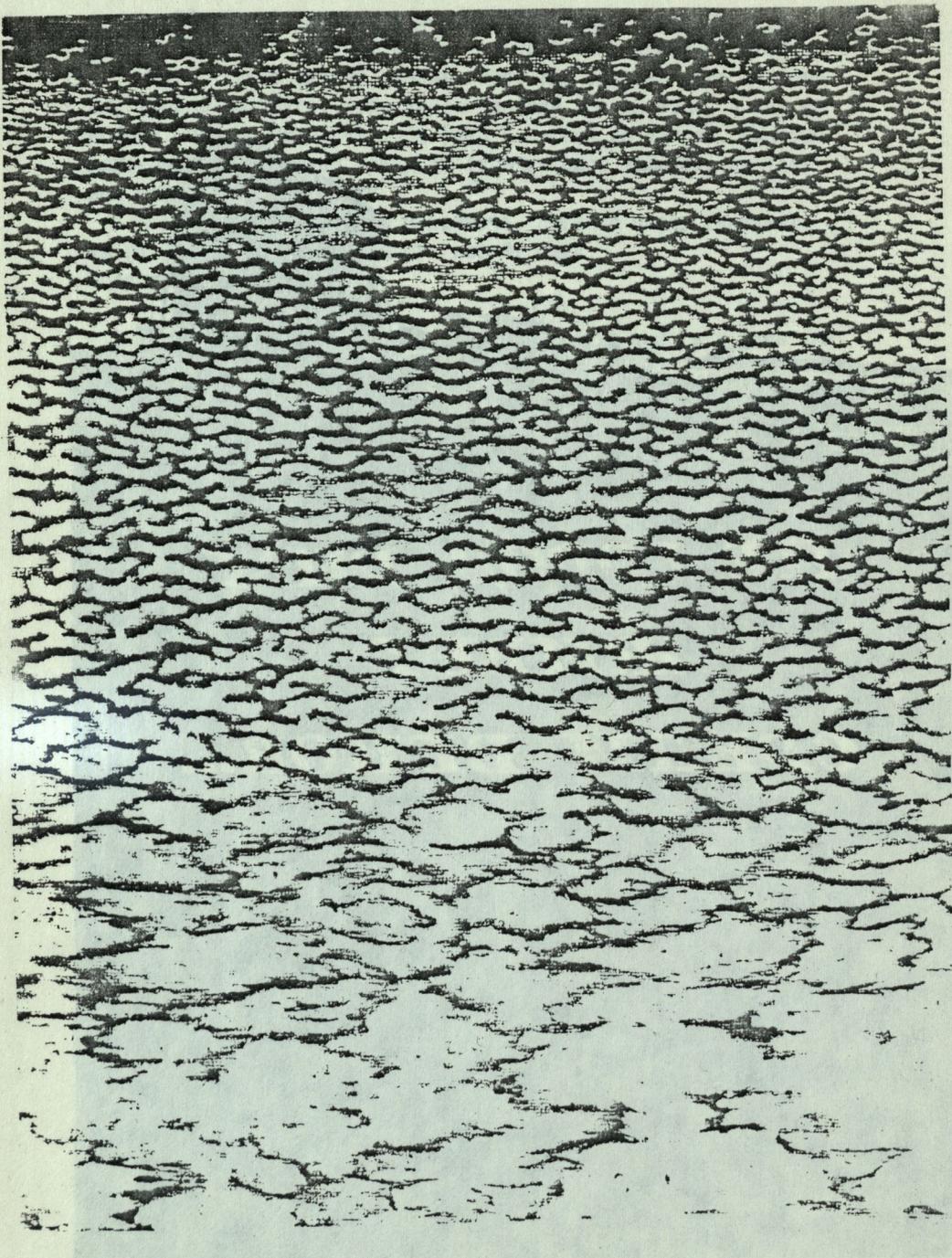
- Так это вот я и есть.

Сказал и сгинул.

(Сказка записана М.Л.Козыревой со слов Л.С.Гордона, слышавшего её от беломороканальских уроков.)



**НЕ ГОРОД РИМ
ЖИВЕТ
СРЕДИ ВЕКОВ...**



Дмитрий Григорьев
ДОРОГА ВДОЛЬ БЕРЕГА

* * *

Трегилую колюшку рыбаки на Шкиперке называют кабздой. Хотя взрослые рассказывали об окунях и лещах, на наши самодельные удочки ничего кроме кабзды не попадалось. Плёнка мазута уже тогда плавала на поверхности Ковша, её радужная окраска напоминала окраску чешуи колюшки, казалось, они — одной природы. Колюшка водилась везде, даже около берегов свалки.

— Мусорная рыба, — говорил Юрка, — коты, и те её не едят.

А свалка жила. Мёртвая свалка зарастает травой и ивовым кустарником. Живую свалку можно узнать по облакам чаек и ворон (на свалке почти нет голубей: удел голубей — городские помойки), по чёрным кучам и неприятному запаху; хотя пищевые отходы складывали отдельно — люди свалки обходили это место стороной.

Сердцем свалки на Шкиперке была огромная телевизионная гора, опоясанная забором и колючей проволокой. Туда привозили собранные у населения старые телевизоры, выгружали, а затем давили их трактором. Мы смотрели сквозь щели на этот неравный бой. Кинескопы взрывались, как снаряды, заглушая рокот мотора и крики рабочих. Взрослые часто приобретали отслужившие свой срок, но исправные телевизоры, видимо, как и везде, за бутылку. Мы же воровали радиодетали. Поначалу, они были просто красивыми, непонятными игрушками, потом я научился немного понимать их назначение (что такое ПТК, зачем нужны диоды, конденсаторы, резисторы и транзисторы), даже научился читать схемы. Неэлектролитические конденсаторы мы стали использовать как оружие: на школьных переменках заряжали их в розетках, а потом "дёргали" друг друга.

Там, где пластмасса - то залив,
кусок резины - просто гавань,
ботинок старый на мели,
бумаги лист - возможный парус,
и чаек крик: "Вы чьи, вы чьи?"
.....



— Ребя, смотри, е...ся...

— Да где?..

— Вон, вон, около лодки на берегу... Пошли ближе...

Они перебежали поверху от кучи к куче. Что было видно?.. Ничего... Две полуобнажённые фигуры на берегу, так далеко, что невозможно разобрать, где мужчина, а где женщина.

— Протри, очки, профессор, пошли ближе...

Они подкрались ближе, ещё ближе, но небольшой камень из-под ноги Вовки покотился по насыпи, туда где лежали любовники, и мальчишки разбежались в разные стороны — так расходится круг от брошенного в воду камня.

А бегали они часто: бегали от сторожей и собак, охранявших ломаные телевизоры, бегали от милиционеров, устраивающих иногда облавы (разумеется, не на детей). Но свалка умела прятать своих маленьких людей: в излучины берега, в старье ящики, в щели между гаражами. Свалка научила их курить. Они курили длинные, как макаронины, сигареты — неразрезанные отходы фабрики им. Урицкого, иногда попадались сигареты с фильтром (видимо, из-за дефекта упаковки выбрасывали всю пачку).

— Пришёл, помоечник, — говорила ему мать, сокрушённо оглядывая грязную школьную форму, — сам чистить будешь, вот тебе щётка, и чтобы ни пятнышка...

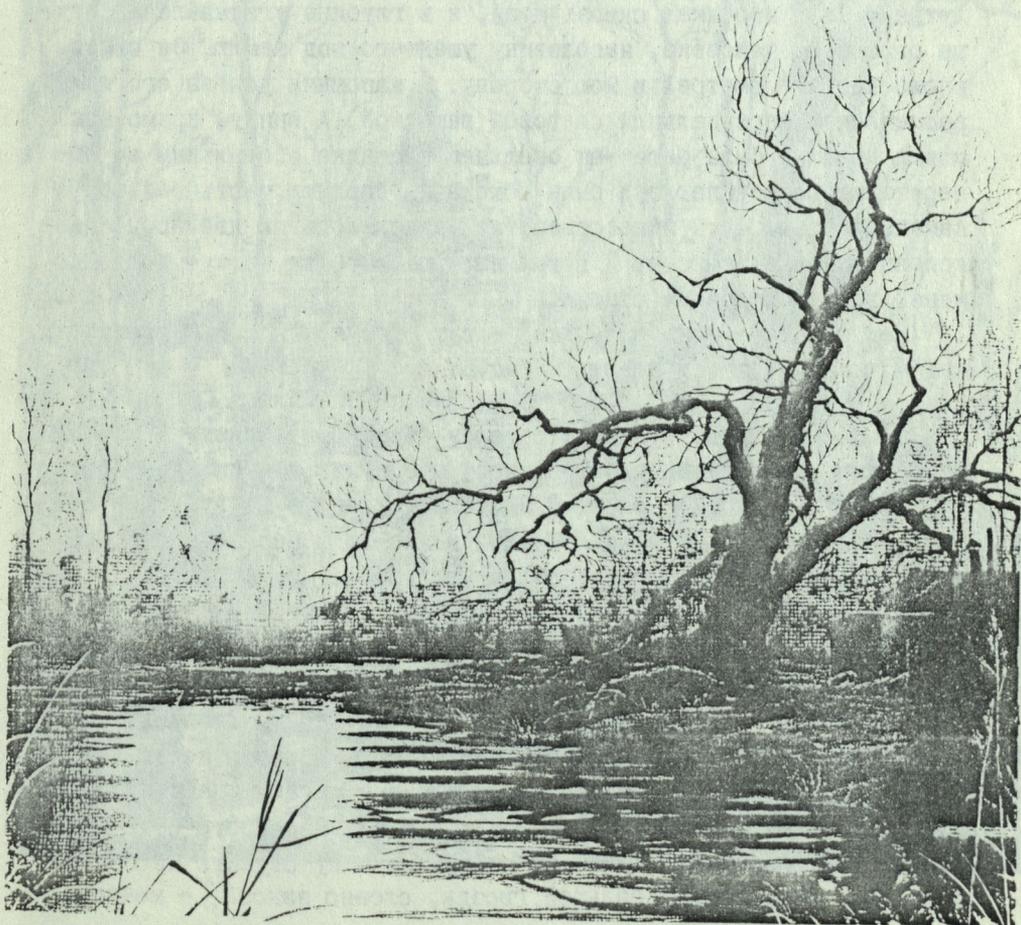
Она не делала различия между помойкой и свалкой, а он не любил помойки, даже мусорное ведро выносил нехотя, с брезгливостью, а однажды взорвал помойку в соседнем дворе. Его поймали и поставили на учёт в детскую комнату милиции, таким образом уравнивая в правах с остальной дворовой компанией — многие ребята состояли в той комнате не первый год.

С тех пор помойки начали ему мстить. Куда бы он ни переехал, под его окнами всегда оказывались мусорные бачки, неприятный запах и мухи поднимались и проникали в его комнату. Ведро с пищевыми отходами на лестничной клетке (именно его этажа) было либо переполнено, либо опрокинуто, и, спускаясь в темноте, он часто попадал ногой в липкую жижу.

Со стороны семнадцатой линии, выворачивая кресты, ломая деревья, на Смоленское кладбище наступал завод, и оно бежало к старой узкой Смоленке (часть могил ушла под воду); но вскоре на противоположном берегу появились огромные корпуса какого-то военного института. Мешало властям это кладбище почти в центре города. Не убивали его, быть может, потому, что там находилась могила матери Косыгина. По-настоящему за кладбищем начали ухаживать несколько лет назад, перед канонизацией петербургской Святой Ксении. Раньше в её часовне находился то ли склад, то ли чья-то мастерская, а вокруг пестрели размокшие конфеты, пряники, яйца и сотни записок: "Ксения, помоги вернуть мужа", "Ксения, помоги сдать экзамен", "Ксения, помоги...". Старые и молодые женщины шли к своей заступнице через заброшенную, заросшую ивой и берёзой половину кладбища, где мы лазали по деревьям и десятки раз убивали друг друга из игрушечных автоматов. Один раз на берегу Смоленки Валька нашёл плот: видимо, рабочие, строившие набережную, привязали его непрочно. Я сбегал домой за продуктами и оставил записку: "Мама, не волнуйся, мы с Юрой и Валею отправимся в путешествие". Доски были нашими вёслами, а высохшая ветка — мачтой. Юра очень хотел в Африку. Африка тогда была близко. Однако за кладбищем нас поймали какие-то дядьки и отобрали плот. Я вернулся домой раньше родителей, так и не побывав в Африке.



На берегу реки Смоленки —
плакучие ивы,
и дорога вдоль берега
приводит к заливу.
А дальше... дальше — Берингом,
в игрушечную Японию, в нарисованную Америку,
вслед за птицами на тепло...
Много воды утекло,
пока выросли эти ивы.



На мой тогдашний взгляд, мы капитально подготовились. Юрка достал фонарик, а я — гвоздодёр и лопатку, принесённые отцом для дачи. Завернув всё это в газету, мы отправились во дворец (тогда я не знал, что "дворец" — старая армянская церковь) искать клады. Со стороны дороги дворец был отгорожен решёткой и забором, а со стороны кладбища — только забором. Поэтому мы прошли через кладбище, влезли на забор и оттуда — на крышу большого сарая. Сарай и дворец разделял дворик, заваленный досками.

— Отлично, — сказал Юрка. — Здесь мы слезем. Но сначала посмотрим, что внутри.

Между крышей и боковой стенкой сарая было небольшое, но вполне проходимое отверстие. Я присел на край и вгляделся в полутьму. Свет проникал сквозь щели, и в глубине угадывалась фигура огромного человека, наполовину ушедшего под землю. Он стоял вполоборота и смотрел в мою сторону. Я запомнил усы на его лице, рассечённом вертикальной световой решёткой. А внизу, прямо под моими ногами, была бетонная овальная площадка с овальным же отверстием посередине. Она была похожа на верхнюю часть большой каменной вазы. Чуть ниже отверстие разделялось на две норы, два колодца, полные темноты. Я встал на край. Это же ноги — дошло до меня, вторая половина статуи.

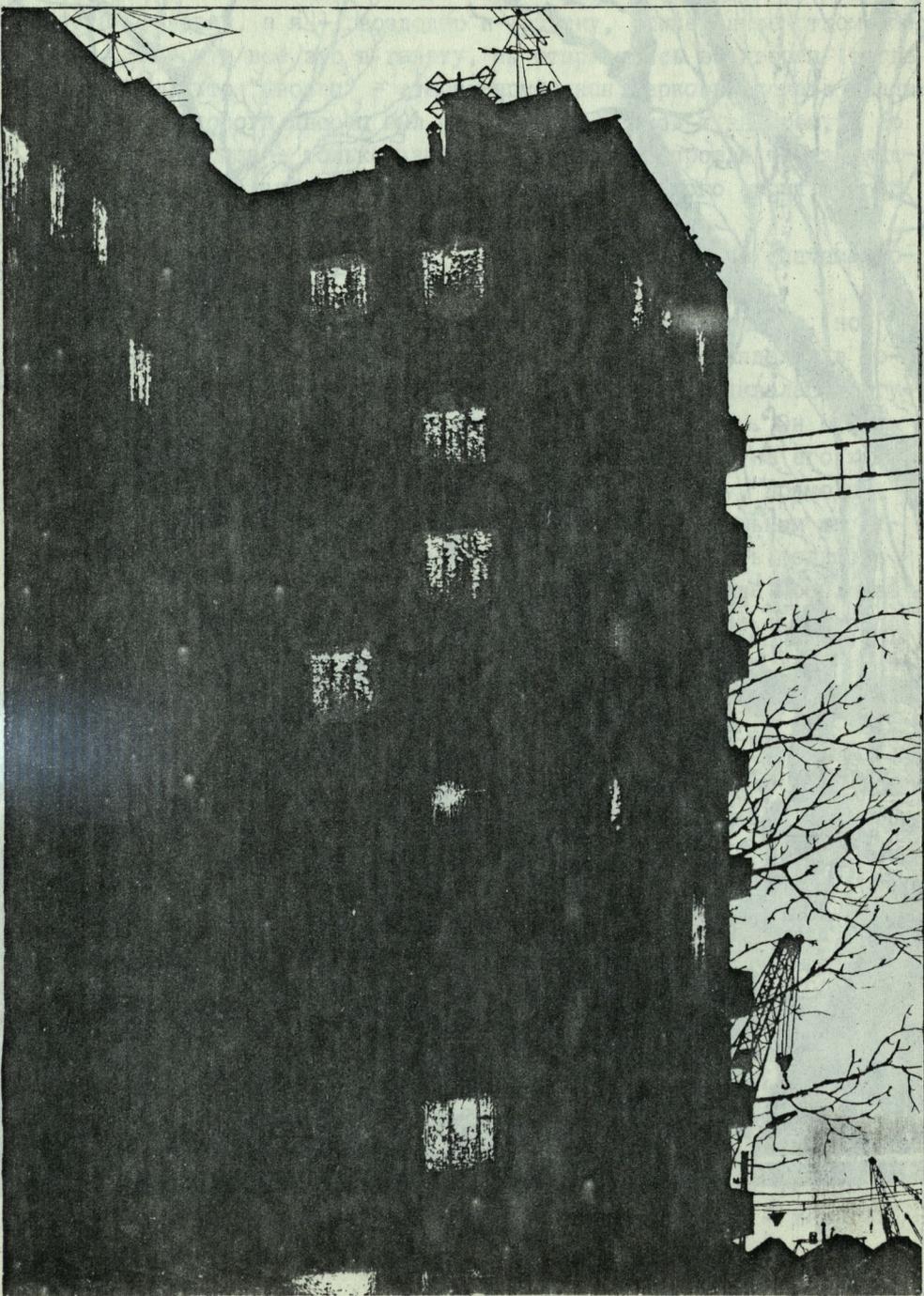
— Слезай, — шепнул я Юрке, — тут статуя. Он подал гвоздодёр, затем лопатку, затем появился сам...

— Ух ты... — В это время внизу раздался шорох...

— Сека! — выдохнул Юрка и полез обратно на крышу. А я, неосторожно развернувшись, провалился в одну из штанин. Гвоздодёр выскользнул из моей руки и со звоном отскочил в другую. Мне повезло: в мою штанину были сброшены какие-то фанерные ящики, поэтому летел я недолго и провалился неглубоко. Почти без труда, используя лопатку как опору, я сумел выбраться. И тут ужас охватил меня: показалось, что огромное лицо, белеющее в глубине сарая, медленно приближается. Забыв о гвоздодёре, я выскочил на крышу и почувствовал себя спокойно лишь на берегу Смоленки.

Кто это был? Сталин? Через много лет я услышал песню Галича "Ночной дозор" и сразу представил, как они шагают, памятники бывшему вождю (и бьют барабаны). Лишь один, из серого став красным, крушит каменными кулаками сарай, но шагу ступить не может: мой гвоздодёр, словно большой гвоздь, словно заноза, — мешает.





"Голодай — голод. Петербург построен на костях народа — бесправного и голодного. А больше всего голодали на островах. Один из островов так и называли — Голодай."

Бабушка часто гуляла с ним вдоль берега острова Голодай. Это был праздник, чудесный, как облизанные волнами цветные стекляшки среди серой и розовой гальки. Потом на берегу выросли гаражи и дома. Тогда он уже знал, что остров называли Холидей (английское — праздник), но Холидей быстро обрусело и превратилось в унылое — Голодай. А после революции — в остров Декабристов. Потому что здесь казнили декабристов. (Хотя бабушка ему говорила, что здесь похоронены..., но он тогда не различал).

"Сразу за пляжем, за рядом невысоких тополей, мужики-колодники в рваной одежде построили деревянный помост (удивительно похожий на сцену паркового театра) и подняли пять виселиц, пять больших деревянных букв "Г". Когда всё было готово и верёвки качались в ожидании жертв, со стороны города послышалась музыка. Она становилась громче, ещё громче, наконец, появились барабанщики, за ними шествовали остальные музыканты, всадники, кареты с генералами, затем пешие войска в парадных мундирах. (Эта процессия очень напоминала первомайскую демонстрацию.)

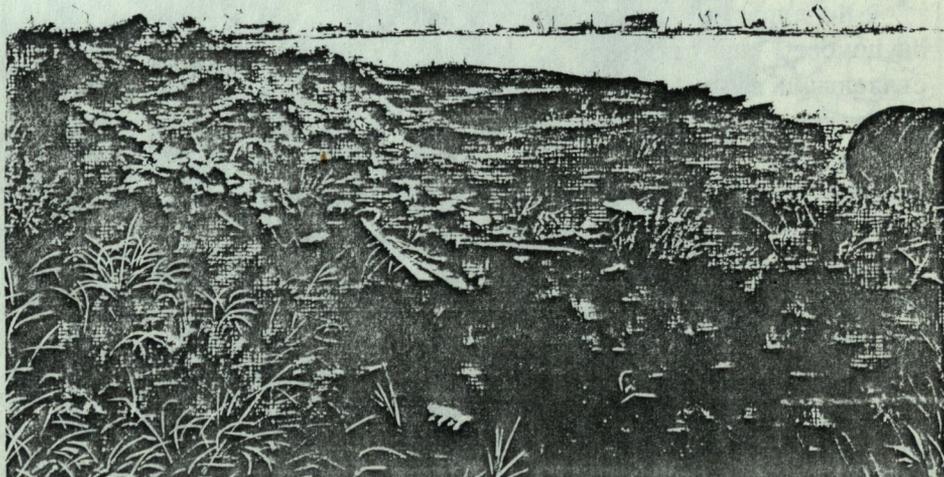
После войска ехал царь со свитой, дальше зрители: мужчины в котелках, женщины в платьях, напоминающих бутылки, такое платье носила старинная кукла, жившая на бабушкином шкафу. Вот музыканты перестали играть, все разместились вокруг помоста, и наступила тишина...

Но через несколько секунд снова дробно застучали барабаны. На помост, как на сцену, вышли пять стройных молодых людей со связанными за спиной руками и пять плечистых приземистых палачей в красных, закрывающих лицо, колпаках с прорезями для глаз. Под петлями стояли табуретки, и осуждённые, мужественно глядя в толпу, вошли на них. Барабанщики застучали громче. За спиной зрителей грозно зашумело море. Внезапно звуки оборвались. И толстый низенький генерал прочитал с немецким акцентом: "Вы хотите свободы, вы хотите убить царя, вы должны умереть!". В третий раз ударили барабаны, палачи выбили табуретки из-под ног декабристов, и те повисли. Но ненадолго: верёвки лопнули, тела упали, с грохотом проломив помост. (Тогда он был уверен, что гнилые верёвки специально подсунули друзья декабристов). Он видел, как

разочарованно расходилась толпа. Уезжали генеральские кареты, а декабристы лежали под помостом, кусая губы от боли. Ветер усиливался. Море гремело, словно прогоняло свидетелей казни. Когда на берегу никого не осталось, подъехала большая чёрная карета. Оттуда вышел Пушкин и его друзья, они вытащили из-под обломков раненых товарищей и увезли их за границу".

Буквально через полгода родители показали ему "настоящее" (у музея артиллерии) место казни. Но это было через полгода.

На острове Декабристов, недалеко от трамвайного кольца, — маленькая каменная стелла. Несколько лет она находилась в окружении куч строительного мусора, толстой проволокой к ней была привязана консервная банка, а в банке стояли цветы. Сейчас идут споры: кто считает, что декабристов похоронили на острове Голодай, кто считает, что на маленьком островке Гоноропуло, а я считаю, что не так это важно — земля-то одна.



Деревья держат музыку,
А мы идём по кладбищу,
Могилы-лодки уплывают на восток,
А мы читаем надписи
И всё идём по кладбищу...

- Скажи мне, где наш дом?

Кресты, и в сердце каждого
Есть имя и фамилия,
А иногда лишь дерево
Над смоляной водой...

- Скажи, когда окончится
Дорога через кладбище,
Скажи мне, где наш дом?

А ветер ветки трогает -

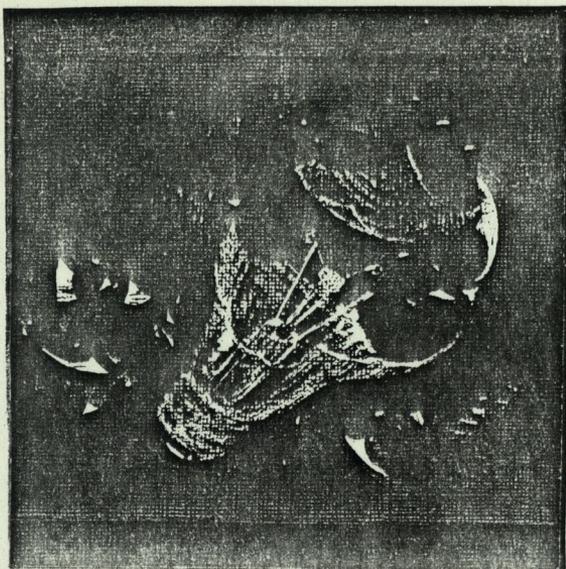
- Не умолкает музыка,
Она совсем не скорбная,
Послушай, как поёт
Живое это кладбище:
Мы ведь давно пришли.



Есть в ежедневном замыкающемся кругу времени, бесконечной цепи светлых и тёмных часов — один, самый смутный и неопределённый, неуловимая грань ночи и дня. Перед самым рассветом есть час, когда пришло уже утро, но ещё ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, загадочнее и темнее этого странного перехода ночи в день. Пришло утро — но ещё ночь: утро как бы погружено в разлитую кругом ночь, как бы плазает в ночи. В этот час, который длится, может быть, всего лишь ничтожнейшую долю секунды, всё — все предметы и лица — имеет как бы два различных существования или одно раздвоенное бытие, ночное и дневное, в утре и в ночи. В этот час время становится зыбким и как бы представляет собой трясицу, грозящую провалом. Ненадёжный покров времени как бы расползается по нитям, разлезается. Невыразимость скорбной и необычной таинственности этого часа пугает. Всё, как и утро, погружено в ночь, которая выступает и обозначается за каждой полосой полусвета. В этот час, когда всё зыбко, неясно и неустойчиво, нет теней в обычном смысле этого слова: тёмных отражений освещённых предметов, отбрасываемых на землю. Но всё представляется как бы тенью, всё имеет свою ночную сторону. Это — самый скорбный и мистический час; час провала времени, раздранья его ненадёжного покрова; час обнажения ночной бездны, над которой вознёсся дневной мир; час — ночи и дня.

Л.С. Выготский

Выпуск номера осуществлён при поддержке СКО "Нева"
Союза кинематографистов Российской Федерации.



Редакция: Алексей Гурьянов,
Александр Новаковский /ответственный редактор номера/.
При участии Ирины Брондз, Аллы Измаильской, Арсена Мирзаева.

Реконструкция карты и фото: Александр Клопов.

Художник номера /оформление, иллюстрации, макет/:

Владимир Барсуков.

По всем вопросам обращаться:

195253 Ленинград,
ул. Тухачевского, 5-4-2,
Гурьянову А.Ю.
/тел. 310-45-75/

195197 Ленинград,
пр. Металлистов, 113-20,
Новаковскому А.Е.
/тел. 213-52-08/

Представитель журнала за рубежом – Veronica Ahrens-Pulawski, Globus (A Slavic Bookstore) 332 Balboa street, San Francisco, CA 94118 USA. Tel.(415)-668-4723.

